

ОТ АВТОРА

Всё в этих новеллах так, как было еще в недавнем прошлом, чему автор был невольным свидетелем, и чего забыть нельзя. На глазах автора древняя Персия преобразалась в современный Иран, не добровольно, а по принуждению, и потому корни прошлого продолжают жить и дают ростки. Ибо трудно многовековую азиатскую культуру преобразить в европейскую в каких-нибудь несколько десятков лет. Натуре автора противно всякого рода насилие, тем более насилие над культурой и цивилизацией целого народа, прожившего своей самобытной жизнью почти три тысячи лет.

В меру своих творческих сил, автор старался примирить в своих новеллах правду жизни, какой он увидел ее, с художественной правдой, какой он ее воспринимал. Его постоянной заботой была нравственная ответственность перед читателем, чтобы личные невзгоды, которые пришлось пережить автору в этой своеобразной стране, не повлияли на изображение характера ее жизни и людей.

Автор включил в эту книжку рассказ «Голодная смерть» из ранее опубликованного им сборника «Царство тьмы» (ныне распроданного), который, в свое время, был принят читателями с болью и со слезами, о чем автор узнал из многочисленных писем читателей и из опубликованных в русской зарубежной печати отзывов

о нем. Автору близок и дорог этот его рассказ по своим страданиям, и он хочет, чтобы живой для него образ мертвого ребенка, погибшего от варварского, бесчеловечного коммунистического режима, не был предан забвению.

Вашингтон, США

ПЕРСИДСКИЕ НОВЕЛЛЫ

*Памяти матери моих детей
Тамары Даниловны Робсман (Шостко).*

«Прохожий, я — царь Кир! Я дал персам целую империю, завоевал царство Мидийское, царствовал над всею Азией, — не завидуй же этой могиле!»

Надпись на могиле царя Кира, оставленная им при жизни, на месте прежней столицы Персии, в Пасаргаде (Мешхед-э-Мургаб), где стоит ныне небольшое строение, поднятое от земли на шесть ступеней, с двускатной кровлей и фронтоном, и с одной комнатой внутри, где стоит золотой гроб царя и его золотая кровать.

1. ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ ДЕНЕЖКИ

Это было на исходе августа, в середине тридцатых годов, в соседней Персии. Солдаты пограничной стражи, перетянутые ремнями, с трудом волочившие свои винтовки, измученные пылающим солнцем и долгим переходом по горячим пескам, были раздражены против нас; они не могли понять, почему мы здесь, а не у себя дома, где есть вода, деревья, тень... Что хорошего нашли мы в этой пустыне с ее усыпляющим зноем, где все живое сожжено солнцем!

Пустыне не видно было конца. Ноги увязали в песке, точно в горячей золе, пылающие волны зноя обжигали лицо, и не было другого желания, как только припасть к воде.

— Далеко ли еще идти нам? — спрашивали мы робко, не зная, куда они ведут нас.

— Потерпите немного, уже скоро селение... — ободряли нас изнемогавшие конвоиры, бросая раскаленные винтовки в песок. — Вот видите песчаные наносы, а за ними — вода, а за водой — горы, а у этих гор лежит селение *Башгиран*...

Но сколько мы ни шли, нигде не было видно ни песчаных наносов, перемещавшихся быстрее нас, ни воды, исчезающей, как только мы приближались к ней, ни призрачных гор, ни селения *Башгиран*, которым бредили изнуренные солдаты.

— Где-то здесь, уже совсем близко, лежит селение *Башгиран*... — повторяли они, как во сне. — Пустыня не бесконечна; все, что имеет начало, имеет и конец...

— Еще только один *мейдан* (расстояние не более двухсот метров), еще один переход... — повторяли они высохшими губами, все чаще отставая от нас и, бросая свои винтовки, валялись в песок.

Мы подбирали брошенные ими винтовки, несли их на себе и строго прикрикивали на своих конвоиров, когда они отказывались идти.

— Бегите! — кричали мы на них, как возница на завязшую в грязи лошадь. — Разве вы не видите отсюда твердую землю, деревья, воду, а за нею, сразу — селение Башгиран? Бегите! Нельзя терять времени!

И они, послушно, как дети, бежали навстречу этому обману.

Так шли мы и падали, и снова шли, подгоняя друг друга, как погонщики своих верблюдов. Но скоро пески стали мельчать, потускнела песчаная поверхность пустыни, ноги не вязли уже в песке, а легко упирались в красную окаменелую почву, похожую на суглинок, и мы увидели голый куст саксаула, без листьев, но живой.

— Башгиран! Башгиран!.. — закричали солдаты, как кричат хаджжи — паломники, увидев святую землю Мекки. Они присаживаются на корточки, очищают песком руки до локтей и ноги до лодыжек, как этого требует обряд, и становятся на молитву; их лица вытягиваются, как у пустынников, изнуренных долгим постом, но они спокойны теперь — они снова на твердой земле! — и все тревоги оставляют их. Разве не говорили они: все, что имеет начало, имеет и конец.

И вот, мы в казарме. Замухрышка-писарь со слабой грудью равнодушно заносит нас в инвентарный список и хитрым глазом приценивается к добыче, — из всего надо уметь извлекать прибыль! Конвоиры, выпив воду из всех глиняных кувшинов, расставленных по углам,

оставляют нас. Они идут в чайхану курить опиум. Они будут рассказывать там о своей храбрости.

Солнце стояло еще высоко и лучи его проникали во все укромные уголки этого безлюдного пограничного городка, раскрывали все его тайны, обнажали его стыдливую неприглядность. Молчаливые горы, погруженные в вечный сон, надменно возвышались над этим, прикорнувшим у их ног, солнечным селением.

Всё дремлет. На горячей улице появляется дремлющий осел с дремлющим на нем всадником; он так стар, точно несет на себе всю многовековую историю своей страны. Но на нем отразилось уже и наше время; сморщенное лицо старика, гладко выбритое, по требованию полиции, кажется неприлично голым, а модная шапка с козырьком делает его смешным.

И опять — ни души.

Иногда в полдень, в самый зной, появляется на улице полицейский урядник в голубом мундире, расшитом золотым галуном. Медный «Лев и Солнце» сверкает на его пробковом шлеме, словно червонное золото. В тени шлема скрываются спокойные, невозмутимые глаза и бесстрастное лицо. Мелкий расчет блуждает, однако, на его бесстрастном лице, как вдохновение.

Какие чары влекут его в эту неприглядную казарму в такой полуденный зной, когда не заключаются никакие сделки, не совершаются никакие преступления, и купцы не торгуют в своих лавках; когда менялы — саррафы — не пересчитывают своих денег, не стряпают в харчевнях трактирщики, и воры ленятся воровать; когда даже лекари оставляют своих больных, поручая их Богу.

Всё спит.

Но полицейскому уряднику не спится; черные мысли, роящиеся под его пробковым шлемом, прогоняют

сон, лишают его радости безделья. Как можно спать, когда счастье стучится к нему в дверь! Каждый новый перебежчик, это — дар, посланный ему самим небом. Эти двое молодых людей, недавно поженившихся, похожи на заблудившихся овец; они пришли в чужую землю без паспорта и визы, — почему же не вернуть их обратно, когда можно выручить за них баснословные деньги! Конечно, и у него есть сердце, но жалостью никто еще не скопил себе денег, не построил себе дома, не приобрел даже временной жены по краткосрочному брачному контракту, а ведь женщина в доме — предмет роскоши, она стоит много денег, ее надо прокормить... Все эти приманки жизни могут достаться ему без труда, — стоит только заманить этих глупых молодоженов в полицейский участок, где вся полнота власти принадлежит ему одному. Они такие жалкие, что их не трудно обмануть. А с начальником пограничного поста всегда можно сторговаться, хотя и похож он на старого вонючего козла... И он вяло усмехнулся, довольный своим сравнением.

Однако невзрачный на вид писаришка Мирза оберегал нас от происков урядника, как овчарка оберегает овец. Он клялся нам восьмым *имамом* Али-Риза и его гробницей в Мешхеде, что отец урядника собака, а сам он — сукин сын.

Своим неприметным ростом и слабосильным телосложением Мирза навсегда остался похожим на подростка, но это не помешало ему выйти в люди и обратить на себя внимание. Многие завидовали его удаче, потому что никто во всем околотке не умел так остро очинить тростниковое перо и составить этим пером счет расходов по содержанию околотка, не производя расходов. Начальник пограничного поста, человек усталый и ленивый, которого во всякое время дня клонило ко

сну, очень ценил своего замухрышку-писаря за такую грамотность и оказывал ему полное доверие. Благодаря этому, щупленький писаришка, похожий на цыпленка, наводил страх на солдат превосходного роста и крепкого телосложения. С каким важным видом закладывал он за ухо свое тростниковое перо, как некое украшение, отличающее грамотных от неграмотных!

Своим именем. Мирза был как бы уже отмечен судьбой стать писцом, ибо ремесло ребенка, говорят здесь суеверные люди, угадывается родителями при его рождении. Нарекая младенца именем, родители вкладывают в это имя все свои заветные желания, которыми напрасно тешили себя всю жизнь; так, заурядные натуры ищут в детях своих то, чего не находят в себе. Прожив всю жизнь без перьев и чернил, они мечтали увидеть в своем отпрыске уличного писца; скрип перьев доставлял им теперь больше удовольствия, чем однообразное бляение овец.

Мирза, как верный страж, не оставляет нас; время от времени он забегает к нам с какой-нибудь новой сплетней, подхваченной им на базаре. Его недоразвитое туловище с большой головой трясется от негодования, он вздымает свои маленькие кулачки к небу, грозитя ими, когда бывает недоволен сплетней, или хихикает, как помешанный, приятно потирая при этом руки, когда бывает доволен ею.

В этот день Мирза вбежал к нам с поднятыми к небу кулаками.

— О милосердный Бог! — сокрушался Мирза, глядя на нас влажными глазами. — Остерегайтесь этого человека! Он похож на ротеля, который умертвляет свою жертву, когда она спит... Разве пальцы его костлявых рук не напоминают вам изогнутые лапы этого отвратительного паука? А его почерневшие от опиума зубы

— разве это не клешни скорпиона? Посмотрите на его плоские бескровные губы, между которыми проглядывает раздвоенный язычок змеи!..

Рядом с ним, говорил Мирза, начальник пограничного поста представлял собой явление светлое, почти солнечный свет. Поднимая глаза к небу, Мирза восклицал:

— Вот человек, у которого нет врагов!

Вся его наружность, все расплывчатые черты его лица говорили о великодушии и о том, что обладает он тихим и добрым нравом. У него были жирные, прищепывающиеся, как у верблюда, губы, большой добродушный нос, доверчивые глаза теленка и мясистые развесистые уши, наполненные курчавыми волосами.

«Нет, — утешали мы себя, — человек, обладающий такими бесхитростными губами, такими развесистыми ушами, таким добродушным носом и беспечными глазами теленка не способен на дурные дела!»

Но тут же, в одно и то же время, мы слышали другой голос, который отказывал нам в этом утешении. Он говорил:

«Перед лицом денежных знаков все люди здесь слабы, тем более, что доброта легко уживается со слабостью...»

Не прошло и дня, как Мирза снова вбегает к нам с новой сплетней, но на этот раз тихо хихикая, нетерпеливо потирая потные руки, со сверкающей в глазах радостью. Он достоверно знает, что сам *серхенг* (полковник) Мамед-Али-хан едет из Мешхеда выручать нас из беды, а ведь он приходится двоюродным братом дяде жены самого *эмир-лашкера* (генерала), который командует военным округом всей провинции Хорасан! У него конюшни заводских лошадей, выхоленных, как жены падишаха; он любит соколиную охоту, но не брезгует и

резвыми персидскими борзыми с гладкой шерстью, которые в погоне за дичью пробегают до семи длинных фарсахов в час и никогда не устают... В его Кирманское поместье съезжается знать со всей страны, чтобы травить антилоп, диких коз и глупых, доверчивых серн — джейранчиков... Злые языки поговаривают, что серженг тайком почитает религию своих предков — огнепоклонников, поклонявшихся пылающим кострам «Бехрама», но в своем полку он требует от всех ежедневно пятикратной молитвы, десять дней скорби в месяц Мухаррем, тридцатидневного поста в восьмой мусульманский месяц Рамазан, а уклонившихся от закона публично сечет плетью. Но он очень добрый, он непременно полюбит вас, потому что вы пострадали за правду...

— Теперь бояться вам происков урядника нечего! — продолжал Мирза, трусливо хихикая и прячась за приоткрытую дверь. — Этот ротель не посмеет теперь даже приблизиться к вашему крыльцу... Пусть только подойдет! Я сам прогоню его, как нечистое животное! — и, испугавшись своей смелости, Мирза притихает, беспокойно выглядывая из-за приоткрытой двери. Убедившись, что никто не подслушал его дерзости, он, мало-помалу, успокаивается; его жуликоватое лицо расплывается сладковатой улыбкой — он что-то придумал!

— Хи-хи-хи... — подобострастно смеется Мирза. — Вы маленько задолжали мне... — говорит он, ласкаясь ко мне, точно гаремная женщина перед тем, как обмануть своего господина. — Как бы сильно я ни любил вас, но это не освобождает вас от уплаты мне долга... Никто не пожелает терпеть убытки ради дружбы... — философствовал Мирза, предъявляя мне в это время счет, аккуратно составленный на листе писчей бумаги. Здесь было зарегистрировано все, что мы съели и выпили за три недели нашего пребывания в этой стране, и

о чем хотелось забыть; недостойно человека сохранять в памяти все, что поглощает желудок! А он, своим счетом, неумолимо напоминает нам о хрустком персидском хлебе «сенгек», испеченном на раскаленных камешках, который, по его расчетам, мы съели в количестве десяти шахских батманов (да ведь это почти четыре пуда!), о двух шахских батманах овечьего сыра (неужели мы умяли целый пуд этого горького, дурно пахнущего сыра, пролежавшего, может быть, год в проточной воде уличной канавы!). В этом списке излишеств и чревоугодия мы нашли горы рыхлого дымящегося риса, воскресавшего в нашей памяти все запахи приправ и соусов к нему, и хитро припрятанный шиш-кебаб в слезящемся от масла рисе. Не была забыта им и простокваша, разбавленная соленой водой, точно зачерпнутой из океана, и непременно со льдом, ибо даже собаки пьют здесь воду со льдом! Много было зарезано для нас кур и петухов, среди которых значился один «луристанский» петух, сильный, как коршун, размером не уступающий страусу, который принимал участие в петушиных боях, пока не состарился, — так высоко отзывался о нем Мирза! Счет заканчивался ароматным персидским чаем, выпитым нами, по подсчету Мирзы, в количестве 250 стаканов внакладку и вприкуску, что не было равно по цене (какая добросовестность!).

Нет, это был не счет, даже не формуляр нашего пищеварения, а книга жизни! Это была летопись обжорства двух изголодавшихся советских людей, кропотливо записанная добросовестной рукой летописца.

— Вы великолепный писарь! — похвалил я Мирзу. — Но почему мы должны платить вам за все, что ели и пили в вашей гостеприимной стране? Разве из ваших закромов и амбаров кормили нас? К тому же, я честно расплачивался наличными на месте...

— Это неважно! — энергично возразил писарь, готовый броситься в драку за каждый сенар, т. е. по-нашему, одну копейку. — Ведь вы сами подтверждаете, что все это вы съели, но чем вы докажете, что за все это вы уплатили наличными? — и он хитро улыбнулся испорченными зубами.

Я искал путь к его сердцу, обращался к его совести, взывал к его разуму, стыдил его, но он ко всему оставался равнодушным. Точно не было у него ни сердца, ни разума, ни совести, ни стыда. Тогда я стал рассказывать ему, как ребенку, о Боге; я говорил, что Бог не любит мошенников, жуликов и плутов, и непременно накажет его.

— Стыдно, — говорил я, — обижать слабых, беззащитных людей, бежавших от произвола и ищущих правосудия в вашей стране. Если вы боитесь полицейского урядника, то как можете вы не бояться Бога?

Мирза заплакал. Мысль о Боге напугала его, но отказаться от денег из страха перед Богом он тоже не мог. Сознание его как бы раздвоилось между Богом и деньгами, причиняя ему нравственные страдания. Будучи человеком набожным и, в то же время, корыстным, Мирза не умел бороться со своей слабостью к деньгам; они мешали ему быть добрым, хорошим, честным, каким хотел он быть перед Богом.

Глядя на его слезы, я уже готов был расплатиться с ним по его незаконному счету (благо, у меня оставались еще кое-какие деньги от подъемных, командировочных и проездных!), упрашивая его, однако, сократить счет и сбавить цены.

— К тому же, — говорил я, — вы должны будете дать мне расписку, чтобы не потребовали у меня этих денег снова, в третий раз.

— Хороший господин! — причитал Мирза, вытирая солдатским рукавом слезы. — Я думал, что вы добрый, что все русские добрые, а вы хотите, чтобы меня повесили...

Мы стали торговаться. Мирза оживился, повеселел, стал смеяться, говорил глупости; наконец настал для него долгожданный час, когда можно испытать сладость торга, этого переменного счастья, напоминающего петушиные бои или азартную карточную игру. Мирза долго не уступал. Он клялся и врал (ложь требует клятв!), и чем больше он врал, тем больше клялся; ведь не может он уступить мне в убыток себе! К концу дня мне удалось выторговать у него луристанского петуха (ведь он жил только в его воображении!), два шахских батмана хлеба-сенгека, с полпуда овечьего сыра и сотню стаканов чая, которым угощали нас в различных местах нашего этапа добрые поселяне и должностные лица.

Придя к любовному соглашению, Мирза обещал сегодня же, на вечерней молитве, как только солнце начнет склоняться к западу и покажется вечерняя звезда, просить своего пророка, чтобы он возвратил мне все эти деньги и даже немного больше.

Но вот послышался конский топот, — это серхенг Мамед-Али-хан гарцевал на арабском жеребце в сопровождении унтер-офицера, сержанта и двух вестовых. Перед казармой, на самом солнцепеке, весь день шла возня; солдаты пограничной стражи обучались играть винтовкой, чтобы с воинскими почестями встретить важного гостя. От такой игры спины их взмылились, как у загнанных лошадей, и промокшие от пота лица казались заплаканными. Между тем серхенг равнодушно прошел мимо, не заметив их старания. Он вошел в казарму, как хозяин входит в свой дом, в котором замечает, что не все на своем месте и надо навести по-

рядок. Легкая тень недовольства скользнула по его невозмутимому лицу с полуопущенными веками, придававшими ему вид вечной задумчивости.

— Я чуть было не загнал своего любимого жеребца, чтобы скорее встретиться с вами... — произнес серхенг, не поднимая век. — Он пробежал десять фарсахов не переводя дыхания, и мои вестовые не могли угнаться за ним. И все это только для того, чтобы сказать вам: еще не поздно! Вы еще свободны выбирать! Я знаю, что не легко будет вам забыть все, что вы любили, менять привычки свои, приспособливаться к нам, переделывать свою жизнь, которая оставила уже глубокий след в вашем душевном мире, и в печали по утраченному проводить свои дни...

И когда он говорил, его восковое лицо оставалось непроницаемым, спокойным, и нельзя было поверить, что столько жизни в этом восковом лице! Он говорил не поднимая век, осторожно выбирая слова, как если бы это были не слова, а огнестрельные раны, причиняющие страдания.

— Но если терять вам нечего, — продолжал он, — если дом ваш пуст, и все, что вы любили, опостылело вам, мы примем вас, как брата, как сестру, и вы будете нам не чужие... Живите среди нас нашей жизнью и мы полюбим вас...

Он приподнял веки и посмотрел на нас загадочными глазами фарса, цвета кофейной гущи, по которой узнают свое будущее суеверные люди; темную, неразгаданную тайну ворожили они нам.

.

В этот вечер мы не готовились ко сну; солдаты унесли казенные тюфяки и надели на себя патронташи. Нас увозили в глубь страны — так хотел серхенг!

Вечер был черный и теплый, и в этой черной теплоте мы шли, как слепцы, под сильным конвоем пограничной стражи. Впереди бежали босоногие дети с зажженными ручными фонарями, но темнота сгущалась вокруг них плотнее, затемняя дорогу. Тихая, всегда безлюдная, эта улица, напоминая нам голую пустыню, шевелилась сейчас от кричащей толпы; люди выползали изо всех щелей, из глухих подворотен, спускались с крыш, поднимались из глубоких подвалов, куда прячутся на день от солнца. Многие в лохмотьях, другие — в исподнем белье, женщины в легких молитвенных чадрах, с туго запелёнутыми грудными детьми, напоминая мумий в саркофаге, спешили на свет наших фонарей, как на праздничное зрелище. А ведь мы думали, что этот сонный пограничный городок населен одними лишь солдатами, жандармами и полицейскими; мы знали еще трактирщика, продымленного угаром шиш-кебаба, кормившего нас, вкрадчивого менялу-саррафа, обкрадывавшего нас, и живописного брадобрея с огненными волосами, наводившего на нас тоску. Этот надоедливый брадобрей и сейчас выделялся в толпе своими крашенными хной усами, освещенными пыхтевшим и сильно чадившим фонарем; при помощи этого фонаря он пробивался к нам, работая в то же время своими острыми локтями.

— Дайте дорогу! Дайте дорогу! — кричал встревоженный брадобрей, сильно помятый толпой. — Я не позволю увезти вас таким обросшим! — кричал он, как на пожаре, наступая на меня с ножницами, бритвой и оселком.

— Клянусь всеми двенадцатью *имамами* (наследовавшими пророку), что вы не уедете отсюда, пока я вас не побрею!..

Солдаты ругались, отгоняли его прикладами, обещали заколоть его штыком, но надоедливый брадобрей, нырнув на мгновение в толпу, снова проталкивался к нам и колотил себя в грудь с такой силой, точно намеревался пробить в ней щель.

— Вот видите, — кричал он мне в упор, выбиваясь из напиравшей на него толпы, — я готов побрить вас хоть сейчас, вот здесь, на этом месте — стоит только присесть вам на несколько минут, и я выбрею вас при этом фонаре не хуже, чем при ярком солнце, — а эти проклятые солдаты не позволяют!..

— Нет правды на земле! Нет правды на земле! — вопил брадобрей, точно ограбленный. — Почему я должен терпеть убытки! Если вы честный человек, вы должны заплатить мне за свою небритую бороду, как за бритую!..

Я всматриваюсь в искаженное страданиями его лицо и хочу понять, для чего живет этот человек? В его теле давно уже нет жизни — оно высохло, и острые кости скелета торчат из него, как из дырявого мешка. Своим видом он напоминает покойника, выставленного на съедение хищным птицам, как это делают персидские староверы — гебры, чтобы не осквернить земли. А он все еще охотится за «черной денежкой» (медяками) с бритвой и оселком в руках. Зачем ему эти деньги, когда он не тратит их, а припрятывает на черный день. Он ждет его, этого черного дня, как можно ждать только самого светлого дня в своей жизни, тогда как все его дни — чернее ночи, и не могут быть черней. Неужели для этого надо было ему родиться!

Теперь я могу сделать его счастливым; я сгребаю всю мелочь, все «черные денежки», все потертые медяки, которые нахожу у себя в кармане, и высыпаю их на его трясущуюся ладонь, влажную от пережитого им вол-

нения. Но он все еще не доволен; он ищет среди этих медяков «белую денежку», серебряную или оловянную монету, и, найдя ее, успокаивается; он получил всё, чего так долго желал, ему больше ничего не надо — я сделал его счастливым!

Но звон медной монеты, точно сладчайшая мелодия, привлекает толпу. Влажные и трясущиеся ладони отовсюду тянутся теперь ко мне за подаванием, ибо, по слову пророка, милостыней спасаются грешники; выклянчив у меня денежку, они обещают мне за медный грош отпущение всех моих грехов. Женщины приоткрывают ради денег свои лица, показывают разрисованные сурьмой брови, протягивая выкрашенные хной ладони. Они причитают, всхлипывают, завывают на разные голоса и слезно плачут, выпрашивая «черную денежку» во имя Бога милостивого и милосердного; они просят ее «на уголек», чтобы поддержать гаснущий огонь *мангала* (жаровни), на щепотку чая, на крошку овечьего сыра, на кусочек сахара, чтобы посластить рот... Мужчины ведут себя сдержаннее; они не кланчат, а вымогают.

Солдаты имели случай повоевать — они держали ружья наперевес, как в рукопашном бою, устраняя каждого попрошайку с дороги прикладом в брюхо.

— Смотри под ноги, презренный пес! — кричали на них солдаты, как кричат здесь всадники на пешеходов.

— Куда лезешь, рожденный от семени пса! — орал конвоир на очень ожиревшего дядьку преклонного возраста в исподних штанах и в длинном старомодном сюртуке.

— Пошел прочь, прижитый от суки выродок! — ругал он другого, повязанного зеленой чалмой и зеленым кушаком, что указывало на его родство с домом Курейшитов, потомков самого пророка.

— Я твоего отца из земли вырою! — кричал солдат на очень назойливую попрошайку, бросаясь на нее со штыком.

При помощи такой грубой брани, оскорблявшей доброе имя отца (но никогда — матери!), конвоиры благополучно доставили нас в запущенный караван-сарай, где вместо скучающих верблюдов пыхтели изношенные автомашины. Здесь они испытали, наконец, солдатскую радость, как это бывает после удачного сражения. Теперь можно позволить себе и удовольствие; исчезая в густом дыму кальяна, солдаты, под покровом его, курили опиум. Старший сержант, носивший медаль за храбрость, вынырнул из дыма и подошел ко мне в качестве делегата. Он начал с того, что обругал последними словами весь персидский народ, всех своих предков и потомков, не пощадив при этом и самого себя.

— Все мы отъявленные негодяи, мошенники, воры и лгуны... — признавался сержант. — Мы даже ходим молиться в мечеть, чтобы обманывать Бога; наш Бог — это деньги! Нам легче расстаться с жизнью, чем с деньгами. Недаром у нас говорят, что человек стоит ровно столько, сколько у него есть денег. Все эти бесчестные люди, что выпрашивали у вас деньги, много богаче вас; они спят на деньгах! Помните того толстяка, что лез наперед и теснил брадобрея, — да ведь у него одних только курдючных баранов больше, чем во всем Хорасане людей! А повязанный зеленой чалмой святоша! Загляните в его лавку — чего там только нет! А эти бесстыдные женщины — попрошайки! У них есть все: кастрюли, глиняные кувшины, наполненные водой, цыновки на полу, керосиновые лампы в нишах, а в жаровнях всегда тлеют угли. Чего им еще надо? Право, до чего жадны женщины к деньгам! Вот теперь сами подсчитайте: если бы мы не защитили вас от этой жадной и

бессовестной толпы, вы потеряли бы все, что у вас есть, а ведь мы согласны на небольшое вознаграждение... Сколько бы вы ни уплатили нам за спасение ваших денег, вы все еще выгадаете, останетесь с прибылью...

Его лицо было очень сосредоточено, как у человека, принимающего важное решение. Он говорил бесхитростно, был чистосердечен и прост в своих доказательствах, и слова его приобретали силу убеждения. Я находил в них много здравого смысла, сухого расчета и детского простодушия, какое бывает у людей, проживших всю свою жизнь с овцами и козами. Не сомневаясь в своем праве на мои деньги, он напряженно ждал, когда же я начну расплачиваться с ним за его верную службу? Он бережно берет каждую монету из моих рук и по-хозяйски перекладывает ее в свой карман, — нельзя легкомысленно относиться к деньгам! Но я замечая, что у него нет доверия к моим бумажным денежным знакам без герба с короной, как если бы они были фальшивыми, и он набрасывается на почерневшее серебро и потертые медяки с изображением своего шаха, со львом и солнцем; ему нужны деньги нетленные, которые живут вечно, и в которых находит он и свое бессмертие.

Тем временем, все умирало на наших глазах. Горные кряжи Копет-Дага, заслонявшие своими вершинами полнеба, уже не были видны — ночь уничтожила их, сравняла с землей. Гасли последние ручные фонари, затихали люди, растворялась толпа, и вся местность, казалось, подверглась этой всеобщей участи уничтожения. Солдаты, поделивши между собой барыши, сладко всхрапывали. Забравшись в темный угол автобуса, словно под землю, мы всё еще слышали ноющие голоса, повторявшие на все лады: деньги, деньги, деньги...

Глаза смежались. Пропадали представления о времени и пространстве, не было ни ночи, ни дня, не было

ощущения жизни, хотя все было, как в жизни, но без живых людей, без звуков, без запахов, без красок, и не были слышны произносимые во сне слова. И только заунывная музыка одного, звенящего, как металл, слова не оставляла нас: деньги, деньги, деньги...

Но вдруг, хватаясь за ружья, повскакали со своих мест заспанные солдаты, и мы услышали знакомое нам старческое покашливание начальника пограничного поста. Да, это был он, со своим толстым животом и слезящимися глазами, добряк и простофиля, провалявшийся всю свою жизнь на стеганом одеяле в маленькой тени. Но сейчас он не был похож на самого себя. Этот неподвижный лежебока и бездельник странным образом превратился в человека, преисполненного жизненной энергии и способного на безрассудные поступки.

— Я бежал к вам со всех ног, — говорил старик, задыхаясь, как будто его прогнали сквозь строй. — Я изранил до крови свои ноги, пробираясь в потемках по слепым переулкам, я задохся, как кипящий самовар, — ведь вы могли уехать, не уплатив мне за проезд! Подумали ли вы об этом? Знаете ли вы, что я мог получить за вас целое состояние, мог разбогатеть в один день, но я этого не сделал, а вы пожалели мне несколько туманов, чтобы доказать свою дружбу и любовь! Нет, так хорошие друзья не поступают!..

«И этот о том же!» — подумал я, готовый полезть в драку. Но с благоразумным спокойствием, подсказанным мне здравым смыслом, я стал рассказывать ему о проделках Мирзы, бесчестно надувавшего меня, и как, задолго до отъезда, он выманил у меня деньги за проезд, а теперь я снова уплатил их водителю машины, который потребовал у меня деньги вперед, потому что ваши люди, говорил он, обманывают его уже не в первый раз,

не платят ему, а награждают его тумачами, когда он просит выплатить причитающиеся ему деньги...

— Не сердчайте, голубчик, — говорил начальник пограничного поста, тихо посмеиваясь. — Все, что вы говорите, конечно, сущая правда... Но зачем вам деньги? Находясь под стражей, вы будете получать здесь все, что вам нужно для поддержания жизни. Не будь у вас денег, никому не пришло бы в голову просить их у вас. Пока у вас будут деньги, вы не сможете жить спокойно — каждый проходимец будет вымогать их у вас. Отдав же их мне, вы сразу освобождаетесь от всех неприятностей, от вымогательства и шантажа и, возможно, от заговоров и покушений на вашу жизнь. Ведь деньги могут быть источником не только счастья, но и несчастья...

«Может быть, он прав?» — подумал я, поддаваясь на его хитрые уловки. Может быть, на самом деле, благоразумнее отдать ему оставшиеся у меня деньги, чем подвергать людей искушению, а себя — опасности?

— Вот всё, что у меня есть... — сказал я, отдавая ему последние червонцы, испытывая при этом сиротливое чувство одиночества, — ведь без денег я никому теперь здесь не нужен, даже нищие оставят меня...

Старик не сразу поверил мне, но скоро на его одутловатом лице появилось восхищение, заиграла на нем глуповатая улыбка, какая бывает у очень счастливых людей. Набивая свой бумажник моими деньгами, он быстро подсчитывал на ходу, сколько можно будет содрать с «саррафа», обменивая их на шахские динары, риалы, с пересчетом на туманы, и, оставшись доволен своим подсчетом, очень повеселел. Никогда еще жизнь не казалась ему такой привлекательной, не обещала так много радостей, в которых отказывала она ему прежде: даже приступов подагры, мучивших его весь день, как

бы и не бывало; он почувствовал прилив свежих сил, его даже потянуло к своей старухе, давно забытой им Азиз-ханум, развращавшей сейчас его воображение. Да и стара ли она, подумал он, когда ей нет еще и тридцати лет? Он взял ее в жены ребенком, в девятилетнем возрасте, к тридцати годам она успела наскучить ему, и он решил, что она состарилась.

Он почувствовал вдруг необычайную для своего тяжелого тела легкость и, играя бровями, стал проделывать трудные фигуры восточного танца, когда пляшут не ноги, а мускулы лица под музыку прищелкивающего языка и пальцев. «Но что же это со мной? Никогда еще так не кружилась голова! Неужели от танца? Этого не может быть! Ведь кружится не голова, а кружатся солдаты с ружьями, кружится автобус, кружатся продавленные сидения, сорвавшиеся со своих мест, кружатся пассажиры со своими узлами и сундуками, и весь неподвижный мир пришел в движение». Его стала мутить противная тошнота, он захрипел, как во сне, и из черного рта хлынула кровь. Он испугался; умоляющими глазами смотрел он на каждого, не допуская мысли, что никто не сможет ему помочь, — даже солдаты со своими ружьями и штыками! Неужели теперь, когда жизнь улыбнулась ему, он должен расстаться с ней?! Нет, он не выпустит из рук бумажника! И, крепко сжимая его, кричит всем голосом, зовет на помощь. Но голоса его не слышно; он хрипит, задыхаясь, точно душит его вся земля, навалившаяся на него. Он уже ничего не помнит, как будто никогда ничего не было, и земля, на которой он только что стоял, ушла из-под его ног, и он рухнул не на землю, а в черную пустоту, где нет ни поверхности, ни дна, ни тьмы, ни света... К его открытым глазам подносят ярко горящий фонарь, но они не видят света;

лицо его багровеет, наливается кровью, перекашивается последней судорогой и затихает. Агония оставляет его.

.

Покойников нельзя долго удерживать на земле и, по обряду мусульманской веры, он должен быть похоронен не позже, чем через три часа после наступления смерти, если смерть настигла его не ночью. Но до ночи было еще далеко, однако, надо было торопиться с обрядом омовения покойника, которое совершается тремя водами — лотосовой, камфорной и, наконец, проточной, всеочищающей водой; с обрядом присыпания ароматами тех мест усопшего тела, которые при жизни соприкасались с землей на молитве и земных поклонах; с обрядом облачения покойника в белый саван, состоящий из рубашки без рукавов, без застежек, без пуговиц, из набедренной повязки и покрывала.

И когда были совершены над ним все предписания веры, его, завернутого в саван, понесли на руках, почти бегом (этого требует обряд), до самой могилы, вырытой в рост человека. И тело, еще не остывшее, теплое, торопливо укладывают в нишу могилы, на правый бок, развязывают саван, освобождают покойника от земных пут и произносят над ним последние слова утешения:

«Хвала Богу, одолевшему рабов своих смертью!»

II. ЛЮДИ И НРАВЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ

Этот коричневый городок, построенный из глины и камня, с садами без деревьев, с канавами без воды, с улицами без мостовой был защищен с севера и с востока хребтами Белой и Черной горы, принимающих в дальнейшем название Гиндукуша. Мало что изменилось в этом благочестивом городке за последние пятнадцать столетий его существования. У городской стены все так же сгорают на солнце трупы павших животных. Огромные псы, напоминающие онагров, бродят с окровавленными мордами среди этой смердящей падали, словно в мясной лавке, и бывают опасны. Далеко слышно их рычание, и шакалы разбегаются при виде их; гиены не решаются приблизиться к ним и с хохотом отступают; коршуны терпеливо выжидают, пока не пресытятся псы, и пугливо уносят остатки. Солнце завершает погребение. Но ослепительно белые кости остаются на поверхности; они хрустят под нашими ногами, куда бы мы ни шли.

В городе сохранилась цитадель губернатора, в которой поныне проживает властелин, наделенный шахом неограниченной властью; его никто никогда не видел, кроме преданных ему слуг, многочисленной челяди и приближенных лиц. На башнях цитадели дремлют стражники. Они пробуждаются в часы молитвы, и тогда спускаются со своих башен на землю; нужно все бросить, все забыть, оставаясь наедине с Богом. В этот час, где бы ни была душа мусульманина, она услышит громкий и протяжный крик служителя Бога на земле, несущийся с высоты небес:

— Спешите на молитву! Спешите к счастью!

— Молитва лучше сна! — прибавляют правоверные сунниты.

Как много здесь солнца, как много света и как мало живой воды! Но сегодня улицы затоплены водой — она бежит, запыхавшись, большим потоком от дальней Белой реки, берущей свое начало в Черных горах, чтобы наполнить пересохшие уличные канавы, напоить умирающие от жажды сады, вернуть жизнь полям, уже покрывшимся цветущим маком, словно залитым свежей кровью. Женщины, наспех прикрытые молитвенными чадрами, спешат к воде со своим грязным бельем; добрый хозяин гонит своих вьючных животных на водопой и, тут же, моет их; верующие совершают в ней ритуальное омовение, а водоносы наполняют этой водой свои кожаные меха, словно виноградным соком. Все говорят здесь только о воде, о *мирабе* («начальнике воды»), о размерах струи, которую отпускает домохозяевам этот разбойник мираб, и которую измеряет он толщиной кирпича, плиты или камня, служащими ему заслоном и водомером. Его стараются подкупить, кланяются ему в пояс, как если бы он был знатным вельможей или посланником Бога на земле. И в то же время, каждый хочет прибить его кирпичом, плитой или камнем, которыми отмеривает он воду. Везде слышится ругань, сквернословие, грубая брань.

Конвоиры ведут нас через крытые проходы базара, где царствует безобразная толпа; вьючные животные ходят здесь между людьми, как равные. Все здесь чем-нибудь торгуют; у каждого лотка, точно перед непристойной картиной, собирается больше зрителей, чем покупателей. Жизнь без радостей сделала их жадными ко всяким забавам, и они, как дети, рассматривают всё, дивясь всему...

Солдаты, сопровождающие нас, не могут нахвалиться городом — все им здесь нравится; давно уже не вдыхали они этого дразнящего запаха жареного, ароматов кардамона, шафрана, мускатных орехов, гвоздики, которыми дышат все базары в этой стране. Они ведут нас по узким и тесным проходам, в которых расположены торговые ряды, плутая в них. Повсюду светятся жарким огнем очаги и жаровни трактиров, и им трудно пройти мимо этих чадящих запахов и не перекусить. Везде нас чем-нибудь угощают, жалеют нас, суют нам обеды на дорогу, и конвоиры не пропускают случая, чтобы не извлечь из этого для себя пользы; их тоже кормят безвозмездно, угощают понюшкой табака или затяжкой опиума. В ковровых рядах они подолгу пьют чай, курят кальян или гашиш, говорят вздор и, словно побывав в раю, не хотят отсюда уходить.

Не спеша, они ведут нас дальше. Зачем спешить! Надо очень не любить жизнь, чтобы торопиться прожить ее как можно скорее... Сегодня был для них особенно удачный день — предстояла публичная казнь хлебопека — отравителя, человека недостойного, человека глупого, у которого не хватило ума, чтобы упрятаться в бест — убежище для всех, уклонившихся от закона, куда не проникает правосудие.

— Какая удача! — восклицают развеселившиеся конвоиры. — Разве есть в жизни что-либо более волнующее, чем смерть!

В смерти есть что-то праздничное — мертвым оказывают больше почести и внимания, чем живым. Этого оборвыша, никогда не мывшегося, слепнувшего от трахомы, со стригущим лишаем на голове никто не замечал на протяжении всей его жизни, а теперь все знают его; люди славных фамилий и бесславная чернь, кото-

рой кишат здесь все базары, хотят присутствовать при его последнем часе; он будет прославлен своею смертью.

Лицо хлебопека, белое от мучной пыли, выражало сейчас скорее недоумение, чем испуг. Он знал, что его ведут на смерть, но все его неприхотливые мысли беспорядочно блуждали сейчас где-то между брошенным им неразделанным тестом и раскаленным очагом.

— Добрые люди! — вопил он, как животное. — Погибнет без меня тесто, погаснет без меня разожженная печь! Какие убытки! Какие убытки!.. — сокрушался приговоренный к смерти хлебопек.

Толпа неистовствовала; нет здесь никого презреннее, чем хлебопеки и мясники. «Лучше, — говорят в народе, — есть землю, чем хлеб, испеченный хлебопекком! Лучше есть мясо собственного тела, чем мясо, купленное у мясника!»

Все кричали:

— Этот разбойник наживается на голодных!

— Вор! Он крадет по пятнадцати *мискалей* (и даже больше!) на каждом чуреке хлеба!

— Он подмешивает к муке песок и глину, травит народ!

— Его надо казнить!

— Его надо обезглавить!

— Какая радость увидеть хлебопека мертвым!

— Скорее же! Скорей!..

Было страшно оставаться среди этих кровожадных людей, словно каждый зевака, пришедший сюда полюбоваться позорным зрелищем казни, был по призыванию палачом. Как было не вспомнить нам на этом лобном месте бессмертного Достоевского, заглянувшего в темную душу человека и увидевшего там, на самом ее дне, в зародыше свойства палача. «Но не равно разви-

ваются эти звериные свойства человека...» — успокаивает нас писатель.

Тем временем, палач, облеченный государственной властью, подкрадывается к обезумевшему хлебопеку с длинным и острым ножом, похожим на секиру. Разве не сказано в законе: «Глас народа — глас Божий!»

Этот маленький шамкающий старичок со слезящимися глазами носит славное прозвище *мир-газаб*, что значит: «заведующий гневом!». Все богобоязненные, все честные и смиренные жители этого благочестивого городка почитают его, ибо он избавляет их от мошенников, злодеев, душегубов и воров, а бесчестные и отступившие от закона — ненавидят его.

Палач знает, что прежде чем умертвить недостойного жизни человека, надо возненавидеть его, надо вызвать в себе чувство негодования к нему и тогда, под прикрытием гнева, ничего не стоит совершить любое злодеяние. Но убить без гнева — нельзя! Недаром ведь носит он почетное прозвище *мир-газаб*!

Возненавидев хлебопека, палач спокойно, по-деловому приступает к убийству. Но убийство, одобренное законом, должно быть совершено благопристойно, с соблюдением приличий, подобающих человеку. Недостойно наносить удар ножом в спину — так поступают трусливые злодеи, не боящиеся правды Божией. Не следует потешаться над смертником, подвергать его надругательствам, ибо так поступают только озлобленные на жизнь уроды с больной душой. Не таким должен быть благоразумный *мир-газаб*; он — как солдат на поле брани! Жизнь нужно отнять у человека благопристойно, не глумясь над его слабым телом (разве мало ему смертных мук!), и *мир-газаб* знает все это. Вот почему так деликатно просовывает он в ноздри оторопевшего хлебопека пальцы правой руки, оттягивает его голову на-

зад и, точно играючи, проводит по его горлу ножом. Слышатся крики одобрения, все хотят увидеть кровь; происходит страшная давка, ругань, ссоры.

— Что случилось? — спрашивают запоздавшие прохожие. — Чему все так радуются?

— Человека убили! — отвечают свидетели казни, понося покойника самыми непристойными словами.

Мир-газаб доволен своей работой; никто не сможет упрекнуть его ни в излишней жестокости, ни в чрезмерном милосердии. Но казненный начинает раздражать его — почему он все еще живет! В жилах его не осталось уже крови, она вся растеклась по земле, наполняя собой сточные канавы, а он упорно хочет жить... Нет, мир-газаб не намерен ждать его последнего издыхания и, пользуясь своей законной властью, волочит по базару еще живое тело, как если бы оно было уже мертвым, протягивая кружку для вознаграждения; он не напрасно потрудился, он сделал доброе дело...

.

Под вечер нас доставили конвоиры в казарму, у закрытых ворот которой беспечно пел часовой. Он восхвалял Бога за всё, в чем отказала ему жизнь. Нет у него ни осла, ни барана, ни жены, которая, по слову пророка, охраняла бы его имущество и честь, ибо нет у него даже циновки под ногами, ни керосиновых ламп в нишах, ни зеркал на стенах... А для женщины без всей этой роскоши нет радости в жизни... Но разве не сказано в Писании: «Когда юноша спит один, то земля жалуется небу и вопит о возмездии!» А еще сказано: «Худшие из правоверных суть те, которые умирают холостяками...».

Старшина грубо прервал его задушевное пение, с которым трудно было ему расстаться, ибо эту песню сочинила ему вся его жизнь.

— Отворяй ворота, бездельник! — кричал на него старшина. — Мы к тебе арестантов — иноземцев привели... Они совсем недавно поженились — и прямо в неволю...

Часовой поглядел на нас, как смотрят несчастные на счастливых, и позавидовал. Он растворил ворота, пропуская нас в большой черный двор, где, подобно звездам на небе, блуждали ручные фонари. Маленькие солдатики — сербазы, шумные и болтливые, как дети, выбегали из своих барачных входов встречать нас. Это было странное сборище очень мирных, плохо одетых воинов, в мягких туфлях со сверкающими пятками и в военных шапках-пехлевийках, которые, казалось, приросли к их черепам; они никогда не обнажают своей головы, разве что только на время сна. Наряду с напуганными подростками, не умевшими еще отличить запаха пороха от запаха навоза, были среди них и усталые старики с притупившейся памятью, подслеповатые, тугие на ухо, плохо уже различавшие команду. Они не могли вспомнить — когда впервые надели на них защитного цвета рубашки и тесные штаны с обмотками на ногах, в которых прожили они почти всю свою жизнь; в те безмятежные дни они несли военную повинность свою, пока носили их ноги...

Солдаты уже вычистили для нас конюшню, вынесли кормушку, и там, где было стойло, стоял теперь сбитый из досок помост. Тугие мешки, плотно набитые соломой, показались нам пуховиками.

Мы осмотрелись. Сильно пахло навозом. Под камнями в потемках возились скорпионы, смертельно жалея друг друга; жизнь в любви и согласии была бы для

них невыносима. В глинобитных стенах конюшни то здесь, то там слышалось отвратительное потрескивание тарантулов. Проползали желтобрюхие змеи с огромной пастью и, притаившись, высматривали мышей. Солдаты говорили, что они равнодушны к человеку, в то время как сами пугались их. Всё живое находилось теперь тут в каком-то беспокойстве. В каждом темном углу происходила напряженная, плотоядная работа этих маленьких хищников, этих трусливых тиранов, чтобы продлить свою не легкую, безобразную жизнь...

Ничего, мы привыкнем к ним, примиримся с неизбежным, как примиряется больной со своей неизлечимой болезнью! Надо будет только сделать эту конюшню жилой, чтобы стала она нам домом, ибо дом наш там — где мы, а не там, где нас уже больше нет.

Конюшня набилась солдатами, пришедшими пожалеть нас. Они с жаром обсуждали наше бедственное положение и, перебивая друг друга, спешили научить нас жить. Одни, по своей склонности, находили наиболее доходным для нас занятием торговать на проезжих дорогах чаем, но другие высмеивали их — не станут мусульмане пить чай, приготовленный руками иноверцев! Говорили и о спиртных напитках — даже праведники напиваются теперь до состояния животных, чтобы походить на цивилизованных людей, а ведь на пьяных можно заработать больше, чем на трезвых! Но солдаты, более рассудительные и мудрые, рекомендовали мне сразу по выходе на свободу начать прокладывать грунтовые дороги и строить мосты. Они не хотели верить, что для этого надо быть инженером, а не иностранцем, ибо, говорили они, каждого, даже малограмотного иностранца принимают здесь за инженера-строителя; они приезжают в Иран нищими, а увозят отсюда деньги мешками...

— Все это не для вас! — произнес мудрый солдат, состарившийся на военной службе. — Вам надо теперь начинать все сначала, забыть все, что было раньше... Если вы были в своей стране генералом, то здесь вы не можете быть даже солдатом; здесь, вы — ничто! Люди без родины, все равно что дети без родителей...

Старому солдату не давали говорить — все кричали, каждый хотел броситься за нас в драку. Неужели, думали мы, нам придется теперь всегда жить жизнью этих надоедливых солдат, которые будут придумывать для нас выгодные занятия, подсчитывать наши вымышленные барыши, грезить нашими предстоящими богатствами и погружать свои руки в наши денежные мешки?

На утро появился в казарме начальник гарнизона. Он приставил к конюшне часового и запретил солдатам приближаться к нам. Часовой был молчалив, осторожен, сдержан на слова, как будто имел дело с обреченными на смерть. Но зато начальник гарнизона был истинным сыном своего народа — он любил поговорить о том, чего нет, рассказать о не бывшем, обещать невозможное и рассуждать о добре и зле. Он внес с собою в конюшню гаремный запах розового масла, которым любил умащать себя по утрам.

Этот обленившийся офицер никогда не воевал, он даже не знал — что такое война, и не имел намерения подставлять свою грудь пулям, предпочитая укрыться от них под стеганым одеялом в обнимку с женой. Дослужившись до чина *явера* (майора), он полюбил военную службу, которая не мешала ему прозябать. К тому же, его с почетом встречали на базаре крупные торговцы и мелкие лавочники, и никто не решался обмануть его, подсунуть ему гнилой товар, даже вступать с ним в торг, и отдавали ему товар за бесценок, почти

даром. Всадники сходили на землю со своих животных при встрече с ним, пешие останавливались, пропуская его, и низко кланялись ему, как прославленному воину.

— Вам будет здесь спокойно, тихо и не страшно, — говорил он усыпляющим голосом. — Вы отдохнете здесь от всех неприятностей, которыми полна жизнь, и многие на свободе позавидуют вам... Вы можете проводить здесь время в занятиях, наиболее для вас приятных, или — в безделье, можете спать, не считаясь со временем, и никто не посмеет потревожить вас; спите себе на здоровье! Мы будем кормить вас рисом и мясом, всеми плодами нашей земли, всеми фруктами наших садов, и когда вам грустно — требуйте чай; он разгоняет тоску и придает бодрость...

Добрый явер хотел сделать для нас что-нибудь приятное — зарезать ягненка, подстрелить дикую козу или оленя, затравить джейранчика, ибо ничто не доставляет человеку большей радости, чем мясо убитого животного.

— Без жареного мяса, — говорил он, — не совершается ни одна выгодная сделка, не заключаются брачные контракты, не укрепляется дружба людей... Общий стол, как и общая постель, делает близкими чужих и приятелями непримиримых врагов...

Кухня была источником всех его радостей, наряду с опочивальней, где пряталась в затворничестве его малолетняя жена. Приближенные к ней служанки плели сплетни, рассказывая, что у нее еще не прошел испуг от первой брачной ночи.

.

В полдень из дома явера пришли в конюшню его комнатные слуги — *фарраши*; тихие, они были приучены выражать почтительность и угадывать желания

своего господина. Мягко ступая голыми ступнями, как крадущиеся кошки, они покрывали унавоженный пол конюшни дорогостоящими коврами, покрывали их скатертью — накрывали на стол. Явер хотел угостить нас на славу! В конюшне становилось тесно от прибывавшей из дома явера челяди, специализировавшейся на безделье и послушании. Впереди шел повар, который, казалось, нес на голове не дымящийся рис, а снежную вершину Демавенда; за ним лениво плелись поварята с приправами и соусами к нему в глиняных мисочках и с напитками в графинах и кувшинах: *абе-дог* — разбавленная проточной водой со льдом сыворотка снятого молока, способствующая прожорству; шербет *секандже-биль*, сваренный на уксусе и сильно сдобренный сахаром и инбирем, очищающий кровь; простокваша с мелко накрошенными огурцами, освежающими желудок при пресыщении; простокваша с рубленым чесноком, продлевающим жизнь обжор...

Явер много ел, подолгу дремал в дыму кальяна, временами впадал в глубокий сон и, просыпаясь, спрашивал:

— Неужели всего этого вам мало?

Его раздражало, что мы не выказываем животной радости от пресыщения, которой была полна его душа. Явер принуждал нас верить, что удовольствия, доставляемые человеку произведениями ума — ничто, по сравнению с удовольствием, которое доставляет мясо молодого барашка; даже лучшие *рубайет* — стихи Саади или Гафиза, говорил он, не накормили еще ни одного голодного.

Явер никогда не затруднял себя чтением мудреных книг, они утомляли его, но имел пристрастие к живописи — никогда глаза его не устают на нее смотреть. С детства пристрастился он к живописному *каламдану*, напо-

минающему пенал, с изображенными на нем бородами персидскими воинами с луками и стрелами, и до старости не может расстаться с ним; он носит его при себе даже в походах, бережно вложенный в вышитый футляр, оберегающий его от порчи. Любит явер и раскрашенные табакерки с непристойными рисунками; много в его доме зеркал в рамках и без рамок, но все они покрыты рисунками, в которых преобладают розы и соловьи. Временами его развлекают старинные персидские миниатюры, на которых кропотливый художник изображает смазливых юношей во всей своей праздной лени среди веселящихся старичков или беспечно предающихся любви гаремных дев. Есть у него и акварели с китайскими лицами, по которым судят здесь о благосостоянии хозяина дома. Но более всего привлекают его портреты придворного художника Санин-эль-Мулька, который обессмертил многих министров Насир-эд-Дин шаха и самого царя царей.

Узнав о причастности молодой женщины к живописи (она была неплохой рисовальщицей в своей стране), этот не зрелый человек в возрасте шестидесяти лет пришел в восторг — он захотел скорее увидеть и себя, подобно министрам Насирэд-Дин шаха, изображенным в красках на полотне. Он гонял солдат по всем лавкам за кисточками и красками, и они, по своей непонятливости и простоте, приносили белила, румяна, сурьму, которой персиянки разрисовывают свои лица, как папье-маше; приносили желто-красную хну, которой красят здесь по праздникам бороды, головы и ногти; приносили и глиняные горшки, в которых можно разводить краски фунтами, или оцинкованные ведра, как для побелки домов. Они так хотели услужить *ханум* (госпоже)!

Послушный и безропотный, словно проданный в рабство, явер терпеливо позировал от восхода до захода солнца, не жалуясь на усталость; ему нравилось сидеть неподвижно на коврике ничего не делая, ни о чем не думая, с лицом, лишенным мысли и выражения (безделье никогда не утомляло его!). Но к концу дня ему было трудно бороться со сном; голова его уже не держалась на плечах, глаза закатывались и смежались, а рот, всхрапывая, растворялся настезь, напоминая черную дыру. Он теперь упрашивал жену дорисовать портрет с его давней фотографии, на которой он выглядит даже лучше, чем теперь...

Явер ждал своего портрета, как ждут в семье рождения первого ребенка. И по мере того, как работа над портретом приближалась к концу, ему в голову приходили разные причуды — он хотел теперь не один портрет, а два, похожих один на другой, как пара сапог (во всем он любил пропорцию и симметрию!). Неплохо, говорил он, было бы пририсовать к портрету обезьянку на дереве или чудесную птицу-вещунью *симорг* у подножья потухшего вулкана; он хотел увидеть себя среди плавающих в бассейне гурий, в раю, или сидящим в лодке, или гарцующим на коне...

Но скоро всем этим причудам пришел конец — странная болезнь незаметно подкралась к молодой женщине, сделала ее равнодушной ко всему; нехотя подходила она теперь к недорисованному портрету, кисточки валялись у нее из рук и все краски сливались в один черный цвет. Отрывочные воспоминания сменялись мечтаниями, бывшее небывшим и вздорные иллюзии временами пугали ее своей неправдой; она говорила теперь с уверенностью о том, чего нет, теряла связь с окружающим ее миром вещей. Она бредила.

Добрый явер прислал лучшего лекаря в околотке — он изучал не только медицину, но астрономию и алхимию, он умеет предсказывать будущее, возвращает к жизни умирающих больных, знает, как лечить проказу, и горбатым выпрямляет горбы. Он узнал все эти тайны в «доме науки», как называли здесь в то время высшее духовное учебное заведение, Дар-эль-Фунун. Явер не сомневался, что лекарь вернет ее к жизни или, по крайней мере, облегчит ее смерть.

Это был тихий, немного напуганный, осторожно ступающий старый человек с молодыми глазами. Нерешительно сажился он у края помоста, на котором лежала больная женщина, и, перебирая четки, старался разгадать по ним ее болезнь; ничего не поняв, он бесшумно удалялся. Так изо дня в день он просиживал у постели больной от утренней молитвы до полуденной и, робко раскланиваясь, оставлял ее на попечение Бога.

Я начинал привыкать к этому тихому, робкому лекарю, не ожидая от него чудес, обещанных явером; с ним было мне спокойнее, словно присутствие какого ни на есть докторишки облегчает болезнь. Он испробовал уже на ней действие всех известных ему целебных трав и настоек на корешках, стеблях и семенах мака, вливал ей в пылающий рот ароматические снадобья, но больная не приходила в себя.

— Странно! — произносил он, задумываясь. — Почему же она всё еще спит, не приходит в себя? Надо пустить ей кровь или, лучше всего, поставить ей банки. Бывали случаи, когда от банок оживали умирающие...

— Это не сон, — внушал я лекарю, — это беспамятство, забытьё...

— Для больного решительно все равно, как вы называете этот сон, — возражал лекарь. — В беспамят-

стве так же, как и во сне, человек ничего не сознает, даже деньги не имеют для него тогда никакой цены...

— Но чем же она больна? — спрашивал я лекаря, не ожидая ответа.

— Какой вы любопытный! — отвечал он не без хитрости. — Не все ли равно, отчего умирает человек? Бывают случаи, когда люди умирают от пустяка, от укуса какого-нибудь ничтожного насекомого, которого легко раздавить ногтем, а другие остаются живы от укуса змеи. Недавно одну старуху забодала корова. Все думали, что старуха померла, а ведь с нею ничего не приключилось; она после этого стала только более сварливой, но много здоровей прежнего, а корова подохла. О, вы не знаете женщин! Они умеют обманывать смерть не хуже, чем своих мужей!

— Какой вы шутник! — проговорил я, стараясь быть сдержанным, но пригрозил пожаловаться на него яверу.

— Напрасно вы серчаете на меня, добрый господин! — слезливо произнес лекарь, и лицо его приняло страдальческое выражение. — Когда я потерял мою первую жену, я даже не прослезился; я знал, что там ей лучше. Что видела она здесь? Ничего! Она вся пропиталась угаром и дымом мангала, от которого не отходила даже в самые знойные дни, и никогда не видела ни солнца, ни звезд, ни неба, жила, как животные в хлеву. Она часто говорила, что завидует козам и овцам, которым не нужно таким тяжким трудом добывать свой корм. Она стала некрасивой, от нее плохо пахло, на нее противно было смотреть... Когда же привел я в свой дом другую жену, то она с первых дней призналась мне, что будет очень рада умереть. А ведь она была свободнее, чем ваша жена, она могла говорить со всеми женщинами и по пятницам ходила в баню...

Напрасно вы так убиваетесь! Поверьте мне, эта грязная, зловонная конюшня хуже могилы для вашей жены!

В то время ее не оставляли бредовые видения, она ходила по большому голому небу, словно по твердой земле, разговаривала с мертвыми, как с живыми, находила среди них давно потерянных, узнавала забытых, и усопшие повсюду сопровождали ее. Она встречает здесь много родственных ей душ, и среди них — застенчивого, скромного, необщительного живописца с кисточкой в руке. Он просит простить его за то, что он изобразил это небо таким мертвым, таким пылающим, похожим на пустыню; он кается. Как это возможно! После смерти нет покаяния! Но он не слышит протестующих голосов, и движением руки хочет убрать нарисованное им небо. Слышится невнятный ропот, громкие одобрения, глухие проклятия. Живописец не один — с ним его мертвая жена. Она говорит: «Я не оставлю тебя, ты так много выстрадал!» Небо пылает, солнце сожгло его, горячие ветры высушили облака, но все мертвые устремляются сюда; они оставляют свои могилы, бегут сюда со всех кладбищ земли. Как много на земле мертвых! Она ищет тех, кого любила — какие они теперь? Трудно припомнить лица давно усопших, но души их забыть нельзя. Свободная, как при рождении, и всем равная, она легко ступает по пылающим кострам и остается нетленной. Ей жарко (у нее был сильный жар!), но она идет дальше и дальше, и находит, наконец, того, кого более всего желала найти. Да, это он, это — его душа, она не может ошибиться. Она так рада! Она ласкается к нему, предлагает ему свою жизнь. Но мертвый отец равнодушен к живой дочери. Он смущен, ему стыдно быть мертвым в присутствии живых. Он застенчиво просит ее: «Не напоминай мне о прошлом, которого у

меня больше нет!». Трупный запах удерживает ее от объятий. Она всхлипывает. Она хочет понять, почему мертвые так равнодушны к живым?

Но среди всех этих безучастных мертвецов, она встречает живую женщину, похожую на бедуинку. Она говорит: «Вы больше никогда не умрете!». Все восхваляют ее. Она продолжает: «Мертвым принадлежит будущее, у живых его нет!». Бесплотная толпа окружает ее. «Не теснитесь! — говорит вечно живая. — Всем вам есть здесь место, никто не будет забыт!». Кто же она? И отвечают мертвые: «Какой безобразной жизнью надо жить на земле, чтобы не узнать Её! У живых много гордости, у мертвых — ее нет!».

.

Приходил явер, он помогал мне обучать жену ходить; он убежден, что лекарь вернул ее к жизни. Из глубины темного угла смотрит на нас недорисованный портрет. Явер давно охладел к нему, не вспоминает о нем; долго горящее желание, подобно пламени, сжигает само себя.

Явер подолгу сидит теперь у нас в конюшне, рассказывает нам о том, что мы давно знаем, и о чем рассказывал он уже не один раз, как о чем-то новом и ему одному известном. Более всего в жизни он боится большевиков, и не может понять, почему они так сильно ненавидят людей и обращаются со своим народом хуже, чем верующие мусульмане с нечистыми животными?

— Вот и вы, — говорит он, — люди миролюбивые, никому не причиняющие зла, бежите от своих к чужим, как праведники бегут от грешников. Но они и здесь не оставляют вас — они ищут вашей смерти... Они проникают во все щели, во все дома, как злые духи, их

можно встретить и в святом городе Мешхеде, и в столице, и на проезжих дорогах, везде...

Его тревога передается нам — мы уже на него не надеемся — он не умеет воевать с тенями, с незримыми духами, которые окружают нас везде, даже в этой казарме...

— У вас очень много врагов! — напоминает нам явер при всяком удобном случае, и всегда спрашивает:

— Почему ваши враги боятся вас, когда вы такие слабые и у вас ничего нет, а у них — все богатства вашей большой страны, вся сила, вся власть! Как могут сильные бояться слабых!

Потом он успокаивает нас стихами Саади, слова которого вошли в жизнь каждого перса, как слова пятикратной молитвы.

«Кто вечно разжигать вражду людскую любит,
Тот самого себя своим огнем погубит!»

Но вот пришла, наконец, депеша из главного штаба Хорасанского военного округа. Какое счастье! Нас пересылают в областной центр провинции Хорасан, в город Мешхед, куда стремятся все праведники, все благочестивые шииты, ибо там погребен мученик и чудотворец *имам* (халиф) Али-Реза, именем которого клянутся и спасаются верующие. И там, говорит явер, в главном штабе военного округа, мы найдем любовь и утешение. Нас приласкает наместник шаха, правитель всей провинции, губернатор Пакриван, женатый на дочери богатого русского промышленника и купца, обедневшего в изгнании. Она красива, как луна, — а ведь красивее луны ничего не бывает! У нее очень белое тело, и волосы напоминают солнечный свет. Она высокомерна и горда. Но не из гордости, а по требованию веры сво-

его повелителя-мужа творит добро, раздает милостыню. О, она хорошо знает — что такое изгнание, и она непременно полюбит нас! Она будет просить за нас своего повелителя, и он сделает нас счастливыми — мы ни в чем не будем иметь нужды.

— Она живет в замке, — продолжает явер, точно во сне, — окруженная роскошью и почетом. Муж обожает ее; он не скрывает, что русские женщины — превосходные жены, но очень плохие любовницы. Все преклоняются перед ней, превозносят ее. У нее есть всё, она не знает, чего ей еще желать. Но о прошлой своей жизни в обедневшей семье отца она вспоминает, как о потерянном рае.

III. ПРАВЕДНИКИ И ГРЕШНИКИ

Опять солдаты, опять ружья, патронташи, штыки, опять ведут нас неизвестно куда по неизвестным дорогам, неизвестно зачем и почему, и множатся неразгаданные тайны, недоумения и загадки, на которые нет ответа. Мы привыкли к этим вооруженным людям, как привыкают к членам своей семьи, нам даже боязно теперь оставаться без них, и мы покорно плетемся за ними, куда бы они нас ни повели, как слепцы за своей верной собакой. Глубокая тьма окружает нас, и хотя звезды совсем близко, но в горах от них не светлей. Вот и шофер; он равнодушен к пассажирам, как могильщик к покойникам. Подсчитав прибыль и оставшись ею доволен, он приводит, наконец, в движение свой старенький, побывавший на всех континентах, автобус, напоминающий заезженную клячу. Машина качнулась всем своим дряблым корпусом и понеслась, как пьяная, срывая со своих мест напуганных пассажиров, и снова сталкивает нас вместе, в одну семью, породнившуюся страхом смерти. Дорога была не столбовая — она извивалась в этих черных горах, устраивала всевозможные ловушки, капканы, засады, западни, неожиданно упиралась в скалу, стремительно бежала в бездну и снова взбиралась на крутую гору, подобно бесстрашному альпинисту, презирающему смерть. Солдаты, позабыв военный устав и в нарушение присяги и воинской чести, оставляли свои винтовки и патронташи, просили нас присмотреть за ними, а сами бросались к открытым окнам с таким видом, словно навсегда прощались с жизнью.

— Неужели я еще жив! — причитал сержант, недавно похвалявшийся своей храбростью. — В моих жилах не осталось уже ни капли крови, желудок мой пуст, как брюхо выпотрошенного барана, а рот наполнен нечистотами, подобно сточной канаве...

Временами сержант плакал и говорил сквозь слезы, что он уже мертв. В минуты такого отчаяния он обещал каждому, кто вернет его к жизни, заплатить наличными деньгами *сенар*, т. е., по-нашему, одну копейку. Он вспоминал тогда доброго отцовского осла, носившего его по всем хребтам и ущельям этих первобытных гор, и было ему спокойно, сидя на нем, он не знал страха; он доверял ослу больше, чем самому себе. А теперь! Зачем нужны эти сумасшедшие машины, когда есть ослы!

Ночь скрывала от нас правду, она прятала местность, по которой неслась «сумасшедшая машина», и давала волю воображению; хотелось верить, что где-то близко от этой беспокойной горной дороги лежат спокойные селения с посевами риса и мака, с фруктовыми садами, и где-то под нами или над нами осторожно сбегает по камням веселая вода; хотелось слышать, как шумят живые листья деревьев, а в глубине их, надыхавшись розами, как кокаином, поют любезные персидскому сердцу соловьи, которые, однако, никогда не залетают в персидские сады; они живут лишь на персидских миниатюрах, в книгах персидских поэтов и в их мечтах.

Рассвет принес разочарование — он открыл перед нами голые, неприглядные горы, загроможденные мертвыми камнями, которые привлекают к себе одних лишь каменотесов. В редкой ложбине застенчиво выглядывала из-под камней трава или нездоровое дерево, мимо которого пробегала струя воды, собиравшая большую толпу людей и баранов. Но чем ближе к святой земле,

тем больше живой земли, населенной овцами и козами. Дорога выпрямляется, и повсюду нас встречают теперь почерневшие от солнца и зноя странствующие мусульманские монахи — дервиши, давшие обет нищенствования, ибо только нищие, говорят они, свободны от предрассудков; им везде хорошо, они всем довольны, им так мало надо, и заботы навсегда оставили их...

Богомольцы вострепнулись при виде этих почерневших протянутых рук — значит, скоро уже святая земля Мешхеда, где покоится чудотворец — имам Алибен-Муса ар Реза, отравленный халифом Маамуном в Багдаде в году двухсот четвертом хиджры. Это по его молитвам виноград созревает зимой, в горячей пустыне пробиваются холодные родники, утихают ураганы и смерчи; он на суше и на воде, в каждом доме и на пастбище — везде, где правоверные испытывают нужду, терпят бедствие, взывают о помощи.

Вот и Мешхед, который на языке Корана означает: «Гробница принявшего мученическую смерть!». Все молятся, все плачут. Сержант тоже не может сдержать слез; он говорит, что хотя город этот грязный и зловонный, населен людьми грубыми и глупыми, говорящими на плохом персидском языке, от которого содрогнулись бы предки благородных фарсов, но всех мусульман привлекает он к себе. Через узкую дверь, литую из чистопробного серебра, в гробницу имама Али Реза проникают приверженцы семидесяти трех толков и сект Ислама, всегда враждующих между собой. Сюда приходят со своими недугами последователи *Ваххаба*, называющие молитвенное обращение к святым идолопоклонством, и ненавидящие их *Муратезийе*, признающие право за каждым правоверным сражаться против своего имама, и непреклонные *Нарисийе*, говорящие, что грех утверждать, будто бы один человек лучше

другого, и верящие в переселение душ *Танасухийе*, и колеблющиеся *Исхакийе*, утверждающие, что время пророчеств еще не кончено. У этой святыни шиитов ищут утешения «бехаисты», приверженцы отступника Бех-Улла, провозгласившего обновление Ислама, и приверженцы его ревностной последовательницы, дочери муллы из благочестивого города Казвина, призывавшей умирать за новую веру. Ее называют «Прохлада очей» или «Золотой Венец», или «Ее светлость чистая!». Женщины завидуют ей, мужчины — превозносят ее; никто не верит, что она умерла.

Нас ведут по главной и единственной тогда улице, пересекающей весь город с северо-запада на юго-восток, посреди которой, во всю ее длину, вырыт глубокий ров для стока нечистот. Здесь же сияет купол гробницы, напоминающий небесную твердь. Перед этой святыней богомольцы не видят ничего земного; у каждой канавки с проточной водой они совершают омовение, очищают себя от всего земного, спешат к молитве; всё для Бога, ибо ничего нет, когда Его нет!

Каждый встречный богомолец подает нам милостыню, которая спасает его от всех грехов; нет для них чистых и нечистых, правоверных и неверных среди узников, — все они в своей неволе равны...

— О, вам очень повезло! — говорят, завидуя нам, солдаты. — Одной только милостыней вы сможете здесь разбогатеть!..

Они рассказывают нам всякие небылицы, правду и неправду о святой жизни имама Али-Реза, говорят, что он тоже был беден, жил милостыней и разбогател только после своей смерти; его доходы теперь не поддаются подсчету, в его гробнице собраны все богатства персидской земли...

Маленький солдатик, очень разговорчивый и подвижной, спешит рассказать нам о доходах мертвого имама, как если бы он был живой. Временами солдат задумывается — его поражают такие неисчислимы богатства, которыми владеет мертвый имам, когда всего этого не нужно было ему даже при жизни. Но богатствами его он хочет возвеличить своего святого в глазах иноверцев и очень горячится, боясь, что мы ему не поверим.

— Все здесь из серебра, из чистопробного серебра! Одна лишь литая из серебра дверь, которая ведет в гробницу, весит несколько сот харвар, не меньше! А ведь один харвар — это вес, который может поднять осел. А чего стоит серебряный светильник, на котором помещается свечей больше, чем на небе звезд! Даже железная цепь ограды, покрытая вековой ржавчиной, тоже вылита из чистопробного серебра... — беззастенчиво врал солдат, словно неправда делала его лучше, приносила ему почет и уважение.

Тут я уже не стерпел и сказал завравшемуся солдату, что даже слепые не смогут принять это ржавое железо за серебро.

— Как можете вы не верить? — удивился солдат, привыкший к своей неправде, которая заменяла ему мечту; он не врал — он мечтал...

— Куда же вы ведете нас? — поинтересовался я погодя, не видя конца этой длинной, бесконечной дороге.

— Потерпите немного... — ответил солдат, и как-то загадочно посмотрел на меня.

— Кто знает, — продолжал он многозначительно и невнятно, — может быть, скоро вы будете свободны, как птицы? Не каждого беглеца требует к себе командующий военным округом, а ведь эмир-лашкер (это что-то

побольше генерала!) — человек занятой; даже полковник не всегда решается показаться ему на глаза...

Мысль о свободе испугала нас — как сможем мы жить теперь без этих вооруженных солдат, без казенного хлеба, без казармы? Перед нами открывался огромный, перенаселенный людьми мир, и этот огромный, перенаселенный мир был пуст для нас. Ни души! Куда пойдем, кому поведаем печаль свою?

Но мы уже не шли, а бежали, подгоняя наших ленивых конвоиров, прельщавших нас неизведанной свободой.

.

Помещение главного штаба имело сходство с театральными декорациями; ветхие антресоли, едва державшиеся на худых столбах, мирно дремали в прохладе фруктовых деревьев. Как много здесь цветов! Они живут здесь короткой жизнью, но они везде, где только есть земля и вода, а травы нигде не видно.

У входа нам показывают клыки скульптурные львы, защищающие трон Джемшида с незапамятных времен. Благоухающий офицер сопровождает нас в штаб-квартиру эмир-лашкера, смущая своей неприличной вежливостью; он говорит, что недостойн находиться в нашей тени, что не имеет счастья быть пылью под нашими ногами, что никогда не насытится видеть нас... и многое другое, чего не хотелось слышать. Но персидская учтивость требует от него этого даже в разговоре со смертельным врагом.

Молчаливые часовые вытягиваются перед нами, как на смотре войск, приоткрывая ковровые портьеры, заменяющие створки дверей. Нигде не видно людей, не слышно дробного перестукивания пишущих машинок,

ни скрипа перьев, ни шелеста бумаг. Иногда бесшумно пробегают какая-нибудь штабная крыса, и быстро исчезает. Нет более тихого, более миролюбивого места в этой стране, чем штаб-квартира военного округа.

Но вот и сам эмир-лашкер! Зачем он нам, и зачем мы ему?

Маленький ростом, он обладал тем трубным голосом, от которого рушились стены древнего Иерихона. Его называют светским человеком, он подолгу жил в европейских столицах, обучался военному искусству в Императорской России, веселился во Франции, развивал в себе любовь к прекрасному в Италии, и немало скучал в англо-саксонских странах.

Вернувшись домой, он встретился здесь с беспорядочной жизнью и бунтами на севере страны — что-то недоброе готовили тогда северные соседи; они собирали нечестивые съезды в его родном городе Реште, а в лесах Гиляна скрывались революционные разбойники «*дженгелийцы*», которых возглавлял персидский красный комиссар Кучек-хан. Этот чернобородый лесной человек уже овладел тогда областью Мазендеран и Гиляном, которые кормят рисом всю страну, и провозгласил «Гилянскую республику», а себя — ее верховной властью. Никто не сомневался в эти дни, что жизни древнего Ирана пришел конец.

Эмир-лашкер был расположен поговорить; он вспоминал, как очищал он леса Гиляна от «*дженгелийцев*», как был пленен им и обезглавлен Кучек-хан, мертвую голову которого долго возили по всем базарам страны, пока не стала она смердеть и разлагаться.

Сегодня, говорил он, как и тогда, северные соседи создают пограничные конфликты, устраивают провокации, нарушают условия всех договоров, которые когда-либо были ими подписаны. Как можно после этого им

доверять! А с тех пор, как мы перешли границу, он совершенно потерял покой. Он все еще не может понять — как это мы уцелели, когда за нами охотились все соединения советских пограничников вдоль северо-восточной границы, со всеми пограничными собаками! Но он устал, он очень устал от чтения всех донесений, ультиматумов, требований и меморандумов с упоминанием наших имен, точно всё это время находился на передовых позициях, на линии огня.

— Сколько неприятностей может причинить один журналист двум государствам! — и он захохотал при этих словах, как водопад, не то сердясь на нас, не то смеясь над нами.

— Если бы вы не были журналистом, то уже давно гуляли бы на свободе — мы отпускаем перебежчиков на второй день. Это не мы, а они, ваши братья по крови и плоти держат вас под арестом... Вы ведете неравную борьбу. Вся большая ваша страна принадлежит им. Вся армия! Вся казна! Все, что на земле и под землей! Все, что на воде и в воздухе! А у вас что́ есть? Ничего! Одна лишь голая правда. Этого очень мало...

Все это он не говорил, а кричал, как будто был нами очень недоволен, тогда как, на самом деле, разговор с нами располагал его к слезам; он с удовольствием расплакался бы над нашей горькой участью, если бы только позволял ему его ранг, его чин и честь солдата. А мы, слушая его, не умели объяснить — чем руководствуется совесть, когда диктует разуму свою волю. Одно лишь известно было нам, что *согласование судьбы со свободой человека уму недоступно...*

— Мы намного старше вас! — продолжал эмир-лашкер, вставая и снова садясь на ковер, пригубливаясь к чаю, как к ликеру. — Мы научились письменности на два тысячелетия раньше вас, и наша письменность на-

поминает живопись; мы не пишем, а рисуем, мы не читаем, а поем...

Он знакомил нас с обычаями своего народа, как с потусторонним миром.

— Вы не сможете привыкнуть к нашему календарю, — говорил он, прикрикивая и как будто сердясь за это на нас. — Вы не сможете понять, почему наш день начинается и кончается с заходом солнца; почему стрелка нашего компаса показывает не на север, как у вас, а на юг... О, вы многому здесь удивитесь!

Потом, перечисляя по пальцам, он рассказывал нам, сколько раз мы должны были умереть от рук наемных убийц, быть отравленными, задушенными, зарезанными и, несмотря на все козни наших врагов, продолжаем жить, потому что так хочет Бог!

— Но теперь, — кричал он на нас с любовью, — вы должны жить осторожно, остерегаться друзей не менее, чем врагов. Запомните навсегда мудрые поучения Саади: «Бойтесь слабого врага более, чем сильного, ибо проявляя покорность и притворяясь другом, он желает только стать мощным врагом... Когда враг исчерпает все хитрости свои, он начинает потрясать цепью дружбы. Следовательно, он старается тогда стать другом, когда не может быть врагом...»

Вскоре нас увели в полицейское управление.

.

Наступила наконец персидская зима со студёными ночами и жарким полуденным солнцем. Полицейские надели зимние шинели и уже не расставались с ними даже на время сна. Они разжигали на посту маленькие костры в «мангалах», а возвращаясь в казарму, приносили с собой краденые дрова и жгли их в печке-

временке; она всегда пылала, всегда была раскалена, и мы сравнивали себя с грешниками в аду...

Нас загнали в угол казармы с наглухо затворенным окном в головной части нашей койки-топчана, и с печкой-временкой у наших ног. Она привлекала к себе всех зябнущих (а кто из рожденных на этой горячей земле не зябнет даже в летнюю ночь!), и эта пылающая печь заменяла им солнце.

Мы здесь не одиноки; сменяющиеся постовые полицейские приходят сюда разуться, погреть у огня голые ноги, подремать на нарах, посудачить между собой, как в бане, обо всем, что было и чего не было. Сюда приводят напуганных воришек с бегающими глазами, выдающих себя за убийц, ибо позорнее здесь быть вором, чем убийцей; в старину их распинали на кресте, а в наше время им отсекают руку повыше локтя. Сюда приводят развязных головорезов «чагукешей», для которых нет лучшего спорта, чем поножовщина. Сюда приводят присмиривших проституток, напоминающих искупительные жертвы из *лупанария*; не из благочестия, а для приманки они все еще носят черные стыдливые чадры. Эти продажные женщины-подростки ластятся к нам, предлагают нам деньги, заработанные своим постыдным трудом; они жалеют нас больше, чем себя. Они открывают перед нами свои детские лица, разрисованные беллами и сурьмой, и плачут.

— Миленькие мои, хорошие... — причитала падшая девочка, совсем ребенок, полюбившая нас за наше несчастье. — Как же это могло случиться, что вы потеряли родных своих, и дом свой, и родную землю, а совести и чести своей не потеряли, остались такими чистенькими, такими хорошими...

Полицейские разлучают нас, выталкивают ее из жарко натопленной казармы в холодную камеру пред-

варительного заключения. Она смеется; она привыкла к тумакам. От каждого удара полицейского она заливается веселым смехом, как от нежной ласки.

В эту ночь нам не пришлось вздремнуть. В то время, как полицейские выпроваживали гулящих девочек-подростков, в казарму ввалилась веселая компания убийц. Они только что зарезали человека, точно свадебную овцу, и, странным образом, оспаривали друг у друга заслугу в этом злодеянии. Полицейские, доставившие их, были у них на побегушках (ведь это дети хороших фамилий и при деньгах!), бегали для них за сигаретами, разжигали им кальян, приносили для всех нас чай в больших стаканах, обедались пилавом и шишкебабом за их счет, и мы были в числе гостей этого мрачного пиршества злодеев, которых ждала петля. Обращал на себя внимание очень развязный юноша с женскими чертами лица, каких изображают на персидских миниатюрах; они пользуются большим успехом у престарелых мужчин и их несовершеннолетних наложниц. Все понимали, почему он распорол брюхо старому торговцу бакалейными товарами, мирно возвращавшемуся к своей теплой жене, тогда как в этот день он никого не обманул, никого не обсчитал, никого не обвесил.

Другой соучастник этого, последнего в его жизни, праздника вел себя безрассудно; он сорил деньгами, расплачивался за всё пригоршнями, словно в эту ночь решил спустить все свое отцовское наследство. Он выкрикивал в экстазе, как помешанный:

— Это я убил! Это я!..

Но тот, кто первым нанес ножевой удар, был тих и слаб, и отличался кротким, застенчивым нравом. Друзья потешались над ним, когда он робел перед каждой доступной девчонкой, и говорили, смеясь, что он играет

в любовь с самим собой... Теперь он отомстил всем за свое унижение, он проявил храбрость убийцы, он возвысился в их глазах — разве для этого не стоит убить!

Вошел заспанный дежурный офицер в глубоком шлеме с золотой тесьмой и с медной бляхой на груди, словно в рыцарских доспехах. Глаза его всё еще слипались — эти буяны помешали ему спать. Не теряя времени он набил всем им морды, нанося подзатыльники, оплеухи, зуботычины и затрецины, и приказал каждого посадить на цепь.

Казарма опустела, наступила могильная тишина; слышалось дыхание каждого полицейского; они похрапывали на своих твердых нарах, как на мягких пуховиках. Ни убийства, ни кражи со взломом, ни грабежи не могли помешать их безмятежному сну; он успокаивал нас, как колыбельная песня; даже самые страшные сновидения казались нам не страшными после пережитого наяву.

По утрам, из окна казармы, мы видели жизнь улицы. Не спеша шли к своим чернильницам и перьям чиновники в картузах нового покроя «пехлеви», сменивших войлочные шапки-бескозырки, запрещенные теперь законом. Купцы, однако, все еще удерживают на своих бритых головах белые тюрбаны, обшитые золотой тесьмой. Некоторые донашивают свои обветшалые длиннополые сюртуки и рыжие абба, или лебеде, или кабе (в зависимости от достатка), похожие на бурки, сильно пахнувшие верблюдом; они всегда хороши — и зимой и летом, и в стужу и в зной. Многие уже одеты по новой моде, в плохо скроенные и не ладно сшитые пиджаки с чрезмерно длинными или чрезмерно короткими рукавами. Реза-шах Пехлеви принарядил их, заставил всех своих подданных подражать западной цивилизации. Но между ними многие еще сверкают пятками в

курносых, без задников, туфлях; суетливо семенят в них люди духовного звания; их узнают по цвету и размеру чалмы, по длине пояса-кушака, по покрою халата; в этих мелких приметах одежды — весь человек.

Ранее других, подобно ветру, пробегает мимо нашего окна полицмейстер города *серхенг* (полковник) Новахи. Встречные расступаются перед ним, преклоняют колени, как на молитве, точно они обязаны ему своею жизнью. На его восковом лице, побитом оспой, не видно улыбки; несмотря на преклонный возраст, в нем еще много жизненных сил. Полицейская форма красит его стареющее тело, но он равнодушен к мнению людей.

Завернув за угол, *серхенг* Новахи взбегает по шаткой лестнице на второй этаж полицейского управления, садится за свой плохо обтесанный стол, и с этого времени все знают, что в городе не будет ни краж, ни грабежей, ни убийств, не будет изнасилована ни одна девочка и ни один мальчик. При виде полицмейстера смерть кажется людям не такой страшной, как он!

Между тем, он был добрым муллой перед тем, как надел мундир полицмейстера; он призывал правоверных к милосердию, раздавал милостыню, примирял недругов, творил добро; он был всем нелицеприятным судьей. Но люди, говорил он, не становились лучше. Из года в год он совершал *хаджж* (паломничество) в вечный город Мекку. Не зная усталости, долго молился он у горы Арафат; в Долине Мина забрасывал камнями колонну Большого Дьявола в знак ненависти к нему и для его посрамления; в Долине Желаний проводил долгие ночи без сна за молитвой, истощая себя голодом, пока силы не оставляли его; пил животворящую воду из источнике Земзем, и в большой мечети Эль-Харам, в храме Каабе целовал черный камень *Эсвад*, оправленный в серебро, отмеченный печатью Всеvyšнего. Падая от

усталости, он многократно обегал вокруг этого замурованного черного камня, а потом, в угоду Богу, приносил в жертву маленького, доверчивого, глупого ягненка с глазами грудного младенца. Его охватывал мистический восторг, когда он лишал жизни это напуганное животное, и твердо верил, что кровью этого ни в чем неповинного ягненка он искупал совершенные им грехи.

Возвращаясь в свой родной город, он не становился другим, и люди оставались такими же, какими они были раньше. И сердце его возмутилось беззаконием, оно возрадовалось падению династии последнего Каджара и возликовало при воцарении новой династии Реза-шаха Пехлеви, перед которым дрожала земля! Добрый мулла стал теперь служить своему государю, как раньше служил Богу. Он говорил теперь: «Нельзя быть добрым, когда имеешь дело с людьми!»

Все эти тайны жизни полицмейстера мы узнали от подружившегося с нами *векиль-баши* (надзирателя), который царствовал в казарме от вечерней до утренней зари. Это был очень непоседливый, насмешливый и болтливый полицейский надзиратель, слепнувший от трахомы и со стригущим лишаем на голове. Ему всегда было некогда — он прибегал и убегал, говорил отрывисто, не заканчивая фразы, ел урывками, на ходу, и обладал странной способностью засыпать стоя, как животное в хлеву. Забегая в казарму, он угощал нас крошками овечьего сыра и, посмеявшись, обещал нам в будущем стада овец. Мясистые его губы всегда шевелились, они что-нибудь рассказывали, на кого-нибудь злословили, чему-нибудь поучали и всех высмеивали. В жизни, говорил он, все так плохо устроено, что если над всем этим не смеяться, то придется плакать... Он развлекал нас своей болтовней — этот потешный, суетливый, кругленький, некрасивый человек.

С восходом солнца сменялся полюбившийся нам векиль-баши, и уже не слышно было ни смеха, ни веселой шутки, ни глупой насмешки. Появлялся раздражительный надзиратель превосходного роста с холодным, похожим на гипсовый слепок, лицом. Его мутные глаза как бы признавались в своей нелюбви ко всем. Он не умел улыбаться, даже когда ему было весело; смех раздражал его, ему было приятнее видеть слезы.

Каждый раз, входя в камеру, он напоминал нам, что мы находимся под арестом, как если бы мы не были уже людьми.

— Вы больше не можете иметь своих желаний, — разъяснял нам этот строгий блюститель закона и порядка, — вы не можете теперь жить так, как вы хотите, и вам запрещено разговаривать с людьми... Даже для отправления своих естественных потребностей вы должны теперь спрашивать разрешение; этого требует закон!

В его присутствии, казалось, увядала трава, высыхали канавы, умирали надежды.

В полдень и на исходе дня появлялся у дверей казармы робкий трактирщик, кормивший нас кашей за казенный счет, а утром он приносил нам чай с хрустким хлебом сенгеком, не спрашивая за все это денег. Этот продымленный чадом трактирщик, одетый в рубаху из чёртовой кожи, которая, казалось, приросла к нему, был источником всех наших радостей; мы ждем его, как ждут животные часа своего кормления.

Раздражительный надзиратель гнал его, когда он заглядывал в казарму, не позволяя ему видеть нас, и награждал его тумаками, когда он просил расплатиться

с ним. Он сносил тумаки, обещал кормить нас даже бесплатно, потому что без него мы теперь помрем.

Такая грубая зависимость от трактирщика сердила нас, мы замечали, как с каждым днем притуплялась мысль, сокращались наши желания (счастье, говорил Гораций, в сокращении желаний!), мы становились мелочными, забывали о том, для чего живем, ожидая часа нашей животной радости.

Но что же это! Почему он не идет? Уже вернулся на ночное дежурство насмешливый векиль-баши, а трактирщика все еще нет; не может быть, чтобы этот добряк забыл нас, оставил нас голодными на ночь!

— Чего вы ждете? — насмешливо спрашивал нас векиль-баши, отлично зная причину нашего беспокойства. — Я прогнал этого осла с его дурацкой кашей; сегодня у вас будет богатый ужин, его принесет вам всеми уважаемый в городе человек, Найдар Ходжа Мир Бадалев. Вы не знаете его? О, вы скоро его узнаете! Этот ходатай по делам беженцев от Лиги Наций рожден для добрых дел...

Это был узбек — лицеист, принадлежавший к аристократам Бухары, из племени *мангитов*, господствовавшей, в свое время, над тюркскими племенами. В Хиве он был наместником эмира, в Бухаре — министром двора, в Петербурге — консулом Бухарского ханства. И теперь, потеряв всё, он оставался таким же, каким он был прежде; он не мог быть другим, ибо кем рождаешься, тем и умираешь...

— Как вас запрятали! — говорил он, и голос его, дребезжащий, старческий, прерывался от волнения. — Мне стоило немалых усилий отыскать вас в этой дыре. Но вы не беспокойтесь, о вас все уже здесь знают, вы

не забыты; вот русские люди в изгнании приготовили для вас отменный обед. Уж как они старались!

Послышались знакомые запахи отечественной кухни, возвращавшие нас домой. Почему из всего забытого первыми вспоминаются запахи и вкусы? Что в них? Может быть, они передаются нам по наследству, как землепашцу любовь к земле?.. Ленивые щи, казалось нам, благоухали, а насмешливый векиль-баши не верил, что они могут кому-нибудь нравиться. Как он смеялся, заглядывая в судки!

— Неужели, — говорил он, помирая от смеха, — вам может нравиться этот говяжий суп, провонявшийся капустой? — и сравнивал его с запахом задохшейся воды в давно не чищенном подвальном водохранилище.

— Почему русские любят все, что плохо пахнет? — посмеиваясь, говорил этот примитивный житель земли.

Старый узбек из благородного племени мангитов был этим шокирован; его раздражали плохо воспитанные люди, оскорблявшие его лучшие чувства, причиняя ему почти нравственные страдания.

— Он большой шутник, — заметил я, — он над всем смеется, даже над смертью...

— О, это ужасно! Но смеяться над радостью не менее жестоко, чем смеяться над страданием. У него нет сердца!

В то же время, насмешливый полицейский надзиратель очень почтительно говорил о старом узбеке, величал его *везирем* (министром), рассказывал о нем чудеса; все перебежчики, говорил он, почитают его, как святого, знатные люди преклоняются перед ним, его имя хорошо известно самому шаху. Теперь, говорил он, не долго нам осталось сидеть на маисовой каше; он не оставит нас!..

Добрый старик обивал пороги всех сановников, встречался с депутатами меджлиса-парламента, не оставлял в покое наместника шаха, побывал даже у влиятельного в мусульманском мире *муджтехида*, законоучителя правоверных шиитов и их верховного судьи, и никто не отказывал ему, все охотно обещали помочь нам, пока он говорил с ними, и забывали о нас, когда он оставлял их; здесь не помнят того, что обещают.

Он говорил нам о терпении, как о вечном спутнике жизни, ибо ждать, это значит — жить!

— Когда человек ничего не ждет, — продолжал он, сморкаясь слезами, — он уже больше не живет... Поверьте мне, самое лучшее ждет вас впереди...

Он ушел так же внезапно, как и появился — так приходит радость, у которой очень короткая жизнь.

Но вот, среди ночи полицейские вдруг подняли нас с постели; нельзя было медлить и минуты, нас уводили из теплой казармы в одиночную камеру, словно смертников, не объясняя почему. Всё здесь окутано тайной, мы жили теперь одними предчувствиями, становились суеверными, придавали значение дурным и добрым приметам, находились во власти предрассудков и видели только вещие сны. Подобно нашим предкам-язычникам, мы гадали сейчас по звездам, по ущербленной луне, по направлению ветра, чтобы понять, куда уводят нас: в тюрьму, на свободу или на смерть?

Добрый векиль-баши уже больше не смеялся, не шутил; он невразумительно шептал нам о каком-то заговоре на нашу жизнь и что нам лучше не быть у всех на виду...

Камера, куда загнали нас теперь, была похожа на грот в пещере с тяжелой дверью, без окна и света — она освещалась и днем и ночью ручным фонарем; не было здесь и печки-временки, которая возвращала нас

к воспоминаниям о домашней жизни. Но у мокрой стены уже стояла наша койка-топчан со всеми тряпками на ней, с набитым соломой матрацем и круглой подушкой. Часовой закрыл за нами на замок дверь, точно крышку гроба, и звуки жизни уже больше не проникали к нам.

Какая это была страшная для нас ночь!

Трудно сказать, сколько прошло с того времени дней и ночей, было ли это вчера, год назад или в прошлом столетии, но мы узнали тогда, какая бывает вечность. Когда наутро, вместе с дневным светом вошел в камеру полицмейстер, серхенг Новахи, перед которым расступались деревья и люди падали ниц, мы равнодушно продолжали лежать на своей койке, больше не веря в чудеса. Он старался улыбнуться, он говорил мягко и тихо, как здоровые разговаривают с больными, но полицейское спокойствие не оставляло его.

«Если он пришел к нам, и в такой ранний час, — мелькнула у меня пугливая мысль, — значит случилось что-то очень важное для нас, может быть, роковое!»

— Вот видите, — заговорил серхенг голосом доброго отца, — если бы мы не упрятали вас на ночь в эту каменную дыру, то вас уже не было бы в живых... (лицо его при этих словах приняло неприятное выражение, какое бывает у людей с возмущенной душой). Опасность, однако, миновала (и лицо его прояснилось слегка), но не надолго (и снова стало заволакиваться тучами). Ваши враги не умеют прощать и миловать, они не успокоятся, пока вы будете живы (и он нахмурился, как небо перед грозой). Вот почему нет для вас сейчас лучшего места, чем тюрьма (и в его груди разразилась гроза!). Это здание прочнее крепости, и там есть даже удобства, каких нет во многих благоустроенных домах... — и, слабо улыбаясь, он приветливо кивнул нам своей гордой головой.

Мелкие лавочники и ненавидимые народом торговцы мясом и хлебом, носильщики тяжестей *хаммалы*, заменяющие здесь ломовых лошадей, с деревянными горбами, казалось, приросшими к их спинам, крикливые водоносы, торгующие «шахской» водой, голые банщики, едва покрытые полосатыми простынями, точно выбежавшие из горящего дома, вызывающие всеобщее презрение *мордешуры*, обмывающие покойников перед погребением — вся эта пестрая толпа персидской улицы со скорбью и печалью выходила на дорогу, по которой вели нас под сильным конвоем в тюрьму, словно провожая нас в последний путь, в лоно Авраама, Исаака и Иакова.

IV. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ И В ТЮРЬМЕ

Город Мешхед стоит на краю песков, в окрестностях его нет садов, пашни находятся вдали от него, а Хорасанские горы, не достигающие полосы вечных снегов, представляют собой живописную картину дикой горной природы. Много в этом городе кладбищ — на каждой людной улице, посреди базарной площади и на безлюдных подступах к цитадели, окруженной высокой стеной и глубоким рвом; они в самом *шахристане* — центральной части города, и в *рабате* — его предместье. Могил здесь больше, чем жилых домов, ибо каждый благочестивый шиит хочет умереть тут, как можно ближе к гробнице имама Али-Риза, от которого поныне ждут чудес. Богомольцы, приходящие к своему чудотворцу из отдаленных мест, никогда не забывают побывать в тюрьме, ибо узники, говорят они, подобны отшельникам — они всеми забыты, у них ничего нет.

Тюрьма здесь новая, она одета в бетон и закована в железо; по своему благоустройству нет в городе лучшего здания, и преступники, творящие беззаконие и зло, незаслуженно пользуются ее удобствами. Теперь — это наш дом; наше свадебное путешествие по разным местам заключения приходит здесь к концу.

Богомольцы робко приближались к решетке нашего окна, выходящего в наружный двор; они подавали нам милостыню, оплакивали нас, как мертвых перед погребением, и обещали просить своего имама, чтобы он заступился за нас, неверных, так же, как за своих правоверных. Их отрешенные лица, напуганные жизнью, были преисполнены сострадания.

У заключенных тоже есть радости: милостыня заменяет им ласку, а сострадание — любовь.

Но каким голым, каким заброшенным и безлюдным был внутренний двор тюрьмы, напоминавший нам знойную пустыню! Тень не проникала сюда, солнце сжигало все живое, земля пылала. Этот двор казался нам большим, как земной шар, в то время как тюрьма была для нас вселенной. Под вечер сюда приводили на прогулку «знатных» арестантов, над которыми тяготела петля тюремного палача. Мы уже знали время, когда выпускали из камеры афганского принца царской крови — *шахзаде*. Тихий, говоривший шепотом, с глазами теленка, этот наследник свергнутой династии эмира Хабибуллы готов был заплакать от обиды: у него украли корону, трон, страну, которая принадлежит ему по праву. И теперь, когда он так верил дружбе персидских царей, близких ему по крови, Реза-шах запрятал его в тюрьму. Почему?

Стражники прерывали его рассказ на самом интересном месте, разлучали нас, уводили его обратно в камеру, очень похожую на клетку зверя. И тогда, уже на исходе дня, после вечерней молитвы, приводили на прогулку очень беспокойного старика. Он метался по двору, как животное в зверинце, он показывал зубы, рычал, и глаза его сверкали. У него была очень холеная борода, крашенная хною, словно охваченная огнем; горели хною подошвы его ног, ладони и пальцы его рук — всякое место, соприкасающееся с землей во время молитвы. Он был человеком богомольным, человеком благочестивым, человеком божьим и не боялся людей. Тюремные стражники говорили, что у него очень острый язык и он не в своем уме; как можно отзываться неодобрительно о шахе, который творит на земле волю Бога! Это равносильно самоубийству. Но, говорили они, он

очень мудрый, он редактор газеты, он знает всё, чего никто не знает, и его слова передаются из уст в уста, как откровение с небес; его все слушают, ему все верят...

Старик неистовствовал. Как плохо, говорил он, когда у шаха нет шахской крови (ни капли!). Предки его были пастухами, а сам он вышел в люди с помощью иноверцев, у которых служил поначалу наемником в солдатах, чтобы держать в повиновении мусульманский народ. А теперь этот потомок пастухов, сын батрака и простой девки, возгордился своей властью, отменяет вечные законы Ислама — хула ему за это от Бога! Он хочет ослабить жен наших и дочерей наших, принуждает их обнажать лица свои, тогда как сказано пророком: «Женщина, снявшая покрывало свое, — покрывает себя позором и творит мерзости...». А какие права у него на мою бороду? Она росла вместе с годами моими, она дана мне Богом, как и все, что принадлежит мне и плоти моей, и никто не может отнять у меня ее, как только Бог!

И по мере того, как он говорил, глаза его то угасали от чрезмерной печали, то зажигались желтоватым светом раздраженного хищника или вдруг воспламенялись красным огнем, и тогда искры сверкали в них, как зарницы.

На утро его повесили.

.

Приходил смотритель тюрьмы. Он обходил свои тюремные владения, как властелин, как повелитель, как сюзерен; творил суд над арестантами, одних наказывал, других миловал, одним даровал жизнь, у других отнимал ее. Теперь он был нашей верховной властью, нашим господином, а называл себя нашим рабом. Какие пустые слова! Его речь была так сладка, что проникала в кро-

веносные сосуды, и кровь бежала с нею в сердце, но не долго оставалась там. Он любовался каждым своим словом и был по уши влюблен в самого себя. Все здесь говорили, что смотритель тюрьмы имеет пристрастие к малолетним девочкам, берет себе их в жены на условиях «временного брачного контракта», но не более четырех одновременно, ибо в законе сказано: «И женитесь на нравящихся вам, на двух или трех, или четырех...». А он был законопослушным! Но с тех пор, как шах ввел единобрачие и повелел считать зрелыми для брачной жизни девочек не младше тринадцати лет, он оставил в своем доме только одну жену, достигшую дозволенного возраста, и закрепил ее за собой навсегда «вечным брачным контрактом», ибо закон для него — прежде всего! Был он человеком начитанным, читал все без разбору, и недавно он прочитал тайком что-то о коммунизме, во французском переводе, и нашел в нем много схожего со своим тюремным уставом.

Смотритель тюрьмы говорил обо всем деликатно, как подобает горделивому потомку благородных фарсов; он старался прельстить нас жизнью в тюремной больнице, куда не проникает ни одна живая душа и куда не залетают даже птицы. В нашем положении неуверенности и страха — лучшего места в тюрьме нет. Он хочет, чтобы нас все забыли, и тогда можно надеяться, что мы останемся в живых... Там, говорил он, мы сможем беспечно проводить свои безрадостные дни, шить и стряпать по своему вкусу, как если бы мы жили у себя дома. Он пришлет нам ситца и бязи, чтобы мы принарядились, а то ему стыдно на нас смотреть. Он приставит к нам в услужение вора-рецидивиста Барата-Али, напоминающего зверька, только что выбежавшего из леса; он все еще боится людей.

Похоже было на то, что смотритель тюрьмы устраивает для нас здесь жизнь надолго, может быть, навсегда...

Днем и ночью слышны стоны умирающих: к этому нельзя привыкнуть! Обреченных больных выпускают на солнце, которое они видят в последний раз. Они сидят на горячих цеметных плитах с железными цепями на ногах, скребут тело и точат о камни ногти. Они знают, что их жизни пришел конец, но они боятся не смерти, а старого, обленившегося лекаря Пезешки, который кричит даже на мертвых. Страшнее его для них никого нет, разве что неприметный на вид фельдшер Абдул-Кассым-хан, уморивший своими снадобьями немало здоровых людей. Он презирает больных, наслаждается своею властью над ними; ему нравится, когда эти чудовища в кандалах плачут, завидев его издалека. Все получают от него затрецины, которые, говорит он, помогают лучше лекарств. Любуясь своею силой над бессильными, он часто приходит к нам рассказать о своем бесстрашии.

Временами заглядывает к нам лекарь Пезешки. Он очень стар, ноги плохо держат его на земле, но он все еще любит болтать всякий вздор о любовных утехах и деторождении; ему не нравится, что жена не родит мне ребенка. Погрозив ей пальцем, он медленно удаляется, как уплывающее по небу облако.

Прибегает и убегает полюбившийся нам Барат-Али. Он следит, чтобы глиняный кувшин в углу всегда был наполнен водой. Он крадет для нас воду из подвального водохранилища, моет в ней наше белье, поливает для нас пылающий двор, везде оставляет мокрые следы; для него очень важно, чтобы мы не испытывали нужды в воде. Потом он бежит на тюремную кухню, ругается там с поварами за каждый кусок козлятины для нас, кото-

рую отвешивают здесь на золотники, набивает карманы всякой снедью и, как волк к своей волчице, бежит к нам со всей своей богатой добычей. Он смеется тихим, беззвучным смехом, чтобы его не услышали: ему так весело!

Барат-Али всегда занят, у него много обязанностей, которые он выполняет добросовестно и честно, но ему все равно никто не верит и каждый норовит его отколотить. В полдень он разносит арестантам *аш-маш* — кашу из бобов, которую называют здесь «березовой кашей», а после вечерней молитвы — похлебку, прозванную арестантами «пищей собак, шакалов и гиен». Маленький, совсем крошка, он легко бегаёт от камеры к камере с тяжелым медным подносом на голове, и всем слышно, как дребезжат на нем луженые миски, напоминающая музыку кимвалов. Потом он собирает вылизанные уже миски, полощет их в проточной воде, сносит на кухню и по-хозяйски, как свои, складывает в стопки. Чуть освободившись, он бежит к нам, чтобы рассказать, кого сегодня высекли и за что, каких привели новых арестантов и кого отпустили на волю. Он все знает! Сегодня он подслушал и подсмотрел, когда очищали камеру смертников для муджтехида — человека мудрого и праведника, вероучителя и законника, к словам которого прислушивались все цари, ибо он один получил от Бога право толковать закон!

Барат-Али скорбит и вздыхает; как можно приравнять муджтехида к заключенным в тюрьме злодеям, убийцам и ворам, которых все презирают, тогда как он ближе всех к Богу и никто не может быть ему равным!

В эту ночь мы не могли заснуть. Что-то похожее на мятеж, на бунт, на восстание происходило за воротами тюрьмы; слышатся ружейные выстрелы, щелкают запоры тюремных ворот, непрерывно приводят всё новых

и новых арестантов, закованных в цепи, и они не вмещаются уже во внутренней тюрьме; она набита до отказа! Напуганные часовые говорят, что в наружном тюремном дворе такое скопление народа, как только бывает на базарной площади в праздничный день; все они уведены из своих домов, сонные, в исподнем белье, другие — захвачены на улице, на дорогах, ведущих к святым местам, богомольцы, люди верующие, никому не причинившие зла; среди них много грешников, но много и праведников. *Дервиши*, захваченные со своими жаровнями и угольками, шепчут заклинания, распространяя повсюду благовонный чад; они препоясаны зелеными кушаками, а бритые головы перевязаны зеленой чалмой, что указывает на их родство с домом *Курейшитов*, из которого произошел и сам пророк. Все они проповедуют слово Божье, а стражники бьют их прикладами, угрожают штыками, как будто они не одной с ними веры, не одной крови. Слышатся стенания, вопли, стоны; все хотят умереть за свою веру. Уже поговаривают о *газавате*, священной войне, и о том, что на улицах льется кровь праведников; утром многие не знали, что к вечеру они будут мертвыми.

— Всё это из-за женщин, всё из-за них!.. — повторяет перепуганный насмерть часовой. — Все знают, что женщины в родстве с шайтаном, с чёртом, и грех поэтому всегда приходит через них... Как можно противиться воле царя царей! Шах хочет сделать их счастливыми, а они не хотят... Чадра для них дороже жизни, потому что под ней они скрывают все свои пороки и грехи...

А с тюремного двора доносятся стенания:

— О жены наши!

— О посрамленные дочери Ислама!

— Плачьте и рыдайте матери, кормившие вас своими сосцами!

— Что нашли вы и — что потеряли! Разве можно соизмерить потерянное с найденным!

Внезапно наступает могильная тишина — все скорбящие, все стонущие, все стонающие перестают дышать; их лица, искаженные страданиями, обращены на муджтехид: вот и он в цепях, его ведут во внутреннюю тюрьму. Но он спокоен, как небо, несокрушим, как земля. Он похож на патриарха, перед которым открыты все тайны. И хотя стар уже муджтехид и немощен, но дух его тверд; он знает, что власть неба сильнее власти земли, ибо она непрерывна и бесконечна. Кто запретит ему творить волю Бога!

Богомольцы оставляли теперь гробницу своего чудотворца имама и шли на поклонение к тюрьме, ставшей для них святыней, ибо здесь, в камере смертников, томится в заточении праведник. И тогда, под покровом ночи, связанного цепями по рукам и ногам, муджтехида увели из тюрьмы и уже мертвым, завернутого в саван, привезли обратно на дрогах, чтобы выписать его из списка живых.

Бунт был подавлен. Женщины снимали чадру.

Говорили, что сегодня на базарной площади повесили первую персиянку, убийцу своего мужа. Этого здесь еще никогда не бывало! Она кричала:

— Меня нельзя вешать, меня нельзя вешать! я — женщина!..

.

Как бесконечен здесь наш досуг! Как неощутимо время — этот источник нашего медленного угасания и, может быть, завтра, не заметив прожитой жизни, мы проснемся стариками.

С наступлением нового дня мы возвращаемся к тому, что было и что будет снова и снова, в круговорот

безжалостного времени. Так же, как и вчера, появляется на нашем дворе постоянный житель тюрьмы Гришхан с янтарным чаем на медном подносе. Приподняв бороду, как муэдзин на молитве, он кричит на родном нам языке, словно возвещает благую весть:

— Вот и я! Чайку вам принес, чтобы не скучали!..

Мы привыкли к нему, как к восходу и заходу солнца, он нам не чужой, из одних с нами мест и одной с нами веры, армянин по рождению. Из Григория его превратили здесь в Гриш-хана, но от этого он не стал другим. Четверть века назад его нашли в объятиях молодой затворницы-персиянки и за эту короткую радость он расплачивается теперь пожизненным заключением. Как ему повезло, что толпа не побилла его камнями, не оскопила его, не предали его позорной публичной казни, а оставили в живых! С годами он обжился в тюрьме, стал для всех здесь своим человеком, и смотритель тюрьмы позволил ему завести при тюрьме чайную. А ведь известно, что чаем всех здесь можно подкупить, всё проведать, узнать все тайны... Он и не терял времени; день за днем копил деньги, а теперь дает их в рост, и все тюремщики у него в долгу.

Время сторбило Гриш-хана, пригнуло его к земле; скрипят изношенные его кости, ребра выглядывают из обвисшего пиджака и трудно теперь узнать в нем былого красавца-кавалериста, которого повсюду сопровождали пылающие глаза женщин. Но как призрачны, как недолговечны наслаждения, исчезающие тотчас, как только прикоснешься к ним! И он вспоминает теперь, как в начале своей жизни у него была другая мечта: он хотел уйти от всех соблазнов, приманок и искушений, быть усердным семинаристом, читать только поучения святых отцов и находить в них всё, что искал, чтобы ни один день не был потерян даром...

Он подолгу сидит с нами, пока мы осушаем стаканы, и рассказывает о былом, об остроге, стоявшем прежде на месте нынешней тюрьмы, и сравнивает его с открытой могилой; его морили там голодом, гноили в нечистотах, натравливали на него диких зверей, держали прикованным на цепи, и со дня на день он ждал, что его будут пытаться «казнью мухами», более мучительной, чем сама смерть... Эти дикие нравы, говорил он, можно сравнить только с нравами наших цивилизованных советских палачей... О, он так много испытал зла, так долго был унижен, что ему кажется, будто он прожил несколько жизней! И он никак не может понять, почему Богу было угодно, чтобы он променял духовную семинарию на тюрьму.

Мысли о Боге и поньне не оставляют его.

— Странная у них вера! — говорит он, закатывая глаза к небу, как мусульманин на молитве. — Они говорят, что любят Христа, и в то же время не любят нас, христиан. В Коране много от нашей веры, а нас они называют нечистыми, неверными, отступившими от закона... Теперь всё здесь переменилось; нет больше чистых и нечистых, многих фанатиков-изуверов перевешали, но чувство вражды осталось...

Заметив плетущегося к нам тюремного доктора, Гриш-хан сгибает спину и уже не смеет разогнуть ее, пока доктор не прогонит его. Гриш-хан перед всеми гнет спину, он уже не может не гнуть ее, а тюремный доктор приравнивается здесь к чину полковника, что равносильно небесному светилу. Как он наскучил нам своей болтовней о зачатии и деторождении! Он умеет лечить женщин от бесплодия при помощи амулетов и заклинания и не упускает случая принести жене какой-нибудь новый магический амулет; она вся увешана ими, как богатая купчиха драгоценными камнями. И вот, по

его неустанным заклинаниям, моя жена занемогла. Старый балагур прослезился: нет большей награды для женщины, чем зачать ребенка! И он стал плаксиво вспоминать о рождении своего первого отпрыска, словно с этим событием было связано сотворение мира.

Был он человеком чувствительным — о детях не мог говорить без слез. Но, по обычаю предков, он требовал от своих детей почти монастырского послушания, запрещал им иметь свои желания, и всё свое детство они простаивали у двери с покорно сложенными руками в присутствии своего повелителя-отца; он был для них верховной властью отныне и до века.

— Нужно как можно меньше напоминать детям о своей родительской любви, — рассуждал он, — ибо в любви нет уважения, она делает всех равными. А какое может быть равенство между отцом и сыном или между матерью и дочерью? Нет равенства даже между мужем и женой, — продолжал развивать свою философскую систему лекарь. — Говорить жене о своей любви к ней, это все равно что признать себя побежденным; в своем доме вы будете тогда на положении генерала, разжалованного в солдаты. О, это очень опасно вступать в равенство с неравными людьми!

Всё это было для нас ново и непостижимо.

Между тем, всем уже стало известно, что в тюрьме рождается ребенок. Матери и жены вздыхали — какая может быть на нем вина! Не успев родиться — он уже в тюрьме. Жена губернатора, женщина высокомерная, полагавшая, что равной ей никого нет, собственноручно приготовила для рожавшей в тюрьме *ширини* — восточные сладости, омытые ее слезами; она так плакала, так плакала, говорил посыльный, что эти сладости пропитаны солью ее слез! Жена полицмейстера, благочестивая старушка в возрасте тридцати лет, прислала особое

кушанье для плодоносящих, изготовленное на миндальном масле с фисташковыми орехами и в меду, чтобы сладостью была преисполнена утроба матери. Приходила тайком жена смотрителя тюрьмы, приносила лакомства, плакала. Эта девочка-подросток из года в год рождает детей. Она так несчастна! У мужа нет теперь других жен, она у него одна, и он не дает ей покоя. Она напоминала козочку — ей так хотелось резвиться, играть...

Для многих открылись теперь ворота тюрьмы; приходили к нам и русские, великомученики-эмигранты, со своими слезами. Вот и вы теперь с нами, в изгнании! Надо очень сильно любить свою страну, говорили они, чтобы добровольно пойти на такой подвиг!

Приходили американские миссионеры. Барат-Али рассказывал о них сказки; он говорил, как пьяный, радость делала его невменяемым.

Это была семья доктора Гоффмана, сына фермера из штата Огайо, променявшего почетное и доходное занятие тренера бейсбола на беспокойную жизнь миссионера и врача. Отправляясь в эту дальнюю страну вымирающих потомков благородных фарсов, он знал, что всё здесь дико, бедно, грязно, как это было во времена Камбиза, Дария и Ксеркса. На всех дорогах, на пропитанных запахом тления базарах бродят стадами нищие — слабоумные от рождения, слепнувшие от трахомы, покрытые болячками; под каждой войлочной шапкой скрывается облезший череп *кечал*, пораженный стригущим лишаем. И все они тянутся теперь к доктору-иноверцу, точно к целебному источнику Земзем, и он творит чудеса. Разве это не богохульство! Правоверные искали его смерти.

Этот Божий человек теперь здесь, с нами; он подумал и о нас, ожидающих в тюрьме рождения своего пер-

вого ребенка; как можно доверить его персидским знахарям и *хакима*м, все еще врачующим больных по *Канону Авиценны*, жившего в глубине веков!

— У этих врачей, — шутит доктор, — очень не легкая задача — они хотят перехитрить чёрта...

Он уже побывал у губернатора, человека просвещенного, и губернатор доверил ему ждущую ребенка русскую женщину в тюрьме на время родов. И когда придет это время, говорил он, ее привезут в госпиталь миссии под охраной полицейского конвоя, и она узнает там радость материнства.

.

Приближался день весеннего равноденствия, рождался новый лунный год *Новруз*, праздник, которому равного нет. В мусульманском календаре нет праздников, но много скорбных дней, много печали; верующие устают в эти дни от слез, от горьких воспоминаний.

Как радовался наступающему *Новрузу* *Барат-Али*! Заключенные ждут этого дня, как изголодавшаяся скотина ждет первой весенней травы; только в этот день арестантов кормят сытно и вкусно, как на званом пиру; никто не должен оставаться в этот день без риса и мяса! Торговцы рисом открывают все свои закрома, скотоводы не жалеют для узников баранов, чтобы не быть перед Богом в долгу. Скорее бы только миновал судьбоносный тринадцатый день *Новруза*, когда дьявол плетет свои сети, строит козни, связывает путами верующих, сеет семена зла в сердцах людей. В этот день нельзя оставаться под кровлей, где бы то ни было; надо бежать в сады, где уже начинают жить фруктовые деревья, зарождаются плоды, где оживают все тридцать видов персидской сирени, или — на открытое место, в поле, под защиту неба...

Но нет больше с нами Барата-Али. Когда в последний раз он принес нам глиняный кувшин со свежей водой, он бросился на землю и рыдал, содрогаясь, как припадочный, ударяя ладонями о цементные плиты пола. Он так несчастен! Сегодня кончился его срок — его гонят из тюрьмы на волю; он этого не сможет пережить! Этот самый черный день в его жизни пришел неожиданно, как смерть; он не ждал его, он не умеет считать дни, не знает, когда начинаются и когда кончаются месяцы, годы... Не все ли равно?

— Неужели, — вопил он, как животное на скотобойне, — я больше никогда не увижу доброго господина и добрую ханум и ничего не узнаю о жизни вашего ребенка, для которого собирал милостыню, припрятывал гостинцы, воровал ширини!..

Но скоро, как ни в чем не бывало, он спокойно поднялся с земли и, хитро усмехаясь, словно собираясь обмануть весь мир, весело произнес:

— Не пройдет и дня, как я снова буду с вами — ведь я еще не разучился воровать!

Потом осторожно вынул он из потайного места своих арестантских штанов туго набитый медяками грязный, вонючий мешочек и протянул его мне.

— Возьмите! — просил он со слезами, — это всё, что у меня есть; я собирал их для него, для вашего ребенка... — и, боясь, что я откажусь от этих, собранных им денежек, бросил их на землю, а сам пустился бежать.

И случилось так, что вскоре, незадолго до начала нового лунного года, на прогулке во внутреннем тюремном дворе, жена застонала каким-то новым, чужим для меня, стоном, который шел словно из-под земли, из утробы матери, от зародившейся в ней жизни. Ей слышалось движение теснившейся в ней жизни, хотя

боли не было, а только глухое напоминание о ней, подобно отдаленным ударам грома, не обещающим еще скорого дождя. Потом все прошло, лицо ее просияло, миновала гроза. Мы возвращались с прогулки в тюремном дворе на свою койку, и стражник закрыл за нами железные ворота на цепь. Но скоро снова повторилась эта невнятная боль, может быть, только предчувствие боли, но она закричала новым для меня, потусторонним голосом. Теперь я уже понимал, что кричит не она, а кто-то в ней.

Ей было смешно, что я пугаюсь, тогда как она совсем спокойна, даже весела, словно в этой боли находила что-то приятное для себя.

Я пошел звать часового. Этот глупый человек не верил ни женским слезам, ни женскому смеху, но теперь и он струсил, и обещал при смене караула доложить о случившемся разводящему. А ведь он только что сменился, подумал я, так что ждать придется целый час! И тогда стало мне страшно, я вспомнил о Каноне Авиценны, о персидском врачевании, о чёрте...

Вошел дежурный офицер, страшнее которого, говорят арестанты, никого нет. У него было нездоровое лицо, землистое и скучное. Он болел подагрой, страдал от несварения желудка, часто жаловался на головную боль, втихомолку курил опиум, ходил по пятницам в городскую баню поболтать со служилым человеком о том, о сём, любил мясо молодого барашка и, как всякий смертный, дышал ртом. Почему же люди так боятся его? Откуда этот страх человека перед человеком?

Для нас этот страшный тюремщик показался сейчас солнечным светом в ненастную погоду. К тому же, он говорил только приятное, хотел нам нравиться: не нужно ни о чем тревожиться, ибо он уже обо всем по-

думал, все предусмотрел, и с прошлой ночи лошади ждут роженицу у ворот тюрьмы...

— Для беременной женщины, — слюнтяво говорил он, — везде почет и уважение, а в древние времена беременной женщине воины отдавали честь! Но и мы не дикари, мы понимаем, что родить так же трудно, как и умереть...

И когда он говорил, она прислушивалась не к его словам, а к жизни, происходившей в ней, к возобновившейся боли, которая становилась нестерпимой; похоже было на то, что уже начались судорожные родовые схватки, и она закричала знакомым уже мне потусторонним голосом, но это был уже не крик, а вопль. Внезапно наша больничная камера наполнилась вооруженными людьми в полицейской форме, и они увели ее, кричащую, к наружным воротам тюрьмы. Я побежал за ней, мне нужно было сказать ей что-то очень важное, но меня уже не допустили к ней, точно стала она мне чужая, и я покорно вернулся к своей одинокой койке. И вот, я теперь один, совершенно один, как покойник в своей могиле.

.

Миновал уже роковой тринадцатый день, и Новый лунный год вступил в свои права. Я всё еще один, но я знаю, что у меня есть сын. Скоро и жена вернется домой, в тюрьму; она одинока там, как и я — здесь. Добрый смотритель тюрьмы не оставляет меня, он приносит мне советские газеты, чтобы доставить мне удовольствие; он думает, что для недавнего советского журналиста нет лучшего чтения, чем эти газеты. Вот и «Известия», в которых читатели уже никогда не найдут моего имени под сообщениями «От нашего собственного корреспондента». Я смотрю на эти знакомые листы,

как смотрит разведенный муж на свою недавнюю жену. Неужели я мог так долго жить одною жизнью с этой плутоватой, пошлой и хвастливой продувной бестией! Скоро уже два года, как я расстался с ней, но она всё та же — крикливая беззастенчивая баба с огромным ртом, у которой только и есть на уме, как бы одурачить, обмануть и развратить всех... А я ей прислуживал, угождал всем ее низким и безнравственным целям, уподобляясь бесам Достоевского, проповедовавшим разврат и разложение души.

«...Мы уморим желание, — проповедовали бесы, — мы пустим пьянство, сплетни, пожары, легенды, донос; мы пустим неслыханный разврат!..» (Всё это, в точности, происходит теперь, повсеместно, на наших глазах!). И далее: «Рабы должны быть равны... В стаде должно быть равенство... Всё к одному знаменателю... Полное послушание, полная безличность...» (Разве это не то, что у нас уже есть, чего так хотели для нас бесы!). «Одно или два поколения разврата теперь необходимо, — провозглашает бес, — разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь — вот чего надо!». (Даже вспомнить страшно — какому Молоху я служил!).

«Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...».

Теперь я спасаюсь от этих бесов в персидской тюрьме, как в монастыре. Долог крестный путь, тяжела ноша, и далеко ли еще нести мне ее?

Между тем, жизнь в тюрьме не изменилась. По утрам играют зорю. Дежурный офицер делает смотр тюремной стражи. Бесстрастным, оскопленным голосом он читает из тюремного устава, параграф за параграфом, словно суры из Корана, написанные рукой пророка. Разводят караул. Появляется Гриш-хан с янтарным

чаем; он всё еще не может понять, почему Богу было угодно, чтобы он променял духовную семинарию на тюрьму? Барата-Али сменил слабоумный воришка Мехди с идиотским лицом, родившийся, как эмбрион на солнце; он не знает, что у детей бывают родители. У него всегда открытый настежь рот и дурацкая, как у клоуна, улыбка. Он не говорит, а мычит — понять его трудно.

Из тюремной больницы всё чаще и чаще выносят покойников, и новых, закованных в колодки, кладут на койки усопших; они тоже сидят на солнце, которое видят в последний раз, скребут тело и точат о камни ногти. Скоро и этих снесут на погост, и будут на их месте другие, подобные им, лежать на этих койках, и никогда не прекратятся здесь страдания и стоны, к которым нельзя привыкнуть... А жена просится обратно, в тюрьму, — здесь у нее муж, а у ребенка — отец. Она вспоминает, как он кричал, появляясь на свет, как будто не хотел родиться; ее всё еще пугает этот крик ребенка, похожий на осуждение. У него непомерно большая, тяжелая голова, а туловище, как у лягушки. Какой урод! Но разве ей не все равно? О, он непременно будет красив и умен, и будет гордо держать свою голову, даже в тюрьме!.. Ей тяжело об этом думать. Скорее бы обратно в тюрьму!

Когда-то у нее была мечта отдать свою жизнь Большому театру, и Екатерина Гельцер, царствовавшая тогда там, приласкала ее; она говорила, что тело ее в танце поет. У нее, тогда совсем еще девочки, было много поклонников и поклонниц — их не вмещал зрительный зал... Как давно это было! Большого театра больше для нее нет... Позже она отдаст свою жизнь древнерусской иконописи. У вышитой ею Плащаницы верующие оставляют все свои слезы, и она, мертвая теперь, живет

в ней. Она живет в вышитых ею архангелах, возносящихся над Царскими Вратами, в написанной ею иконе Пресвятыя Троицы, напоминающей рублевский образ; она живет в каждом стежке вышитых ею ликов князей-страстотерпцев Бориса, Глеба и Игоря, в которые вшиты все вздохи ее души, все ее надежды и думы о сыне, и молитвы к его небесному покровителю. Она живет при каждом крестном ходе в хоругвях, расписанных ею шелком, как акварелью, с которыми славят Христа!

В палату вошел сонный часовой. У него мутные глаза, как у накурившегося опиумом. Ему очень грустно, он не хочет огорчить ханум, но пришло время возвращаться ей с младенцем в тюрьму. Он очень жалеет ее, но она должна с этим примириться...

Какой глупый и добрый этот часовой! Почему добрые всегда кажутся немного глуповатыми? Разве он может знать, какая жизнь происходит сейчас в ней? И, не сознавая что делает, она обнимает его, целует его рябое, некрасивое лицо, приплясывает, как девки на посиделках, смеется и плачет в одно и то же время. Ей так весело — она скоро снова будет дома, в тюрьме!

V. НЕТ БОЛЬШЕ ДОБРОГО АУРАМАЗДЫ

Уже утром стало известно, что сегодня ровно в полдень, когда всё население страны погружается в глубокий сон, когда не летают даже птицы, и звери мирно спят, нас освобождают из тюрьмы, лишают нас крова и пропитания. Все в тюрьме провожают нас со слезами, как будто там, за этими тюремными воротами, ждет нас загробная жизнь. У тюремных стражников, наших долголетних друзей, равнодушных к страданиям заключенных, мы видим на глазах слезы. Не стыдится своих слез даже смотритель тюрьмы, страшнее которого никого здесь нет. Пришел поплакать над нашей радостью и тюремный лекарь Пезешки, перед которым смерть кажется заключенным не такой страшной, как он; плачет настоящими слезами и его помощник — фельдшер Абдул-Кассым-хан, презирающий больных. Из-за тюремных решеток смотрят на нас со слезами арестанты, шепча молитвенные слова; молитва узника, говорят здесь, сильнее молитвы праведника, ибо Господь с теми, кто более всего терпит нужду.

Какой плаксивый народ! Это завоеватели-арабы принесли персам слезы вместе с Исламом в 630 году *хиджры*, вытеснив из их жизни доброго и радостного бога *Аурамазду*, святого владыку света, которому поклонялись они с незапамятных времен; добрый владыка света оставил персов с тех пор, как персы оставили его...

И вот, мы свободны теперь от всех преград и заборов, от тюремных решеток и тюремных ворот, нас больше не держат под замком, и часовой не заглядывает по минутно в нашу жизнь, как скотник в свой скотный

двор. Но что-то загадочное таилось в нашей ограниченной свободе, отделявшей нас от чужеродного нам государства непроходимой чертой; только теперь мы стали понимать, что мы не равноправные жители этой страны, а пришлые люди, *ференги*, т. е. эмигранты, беженцы, чужие среди чужих.

Справедливость требует признать, что в истории персидского государства мы, всем своим прошлым, не принимали никакого участия, и никаких прав на его наследство у нас нет. Что нам до завоеваний Кира, Камбиза и Дария, сына Гистаспа, власть которого признавалась двадцатью тремя сатрапиями, от Средиземного моря до границ Китая, когда *«копье персидского воина зашло далеко!»*. Мы одинаково равнодушны к его победам и к его поражениям. А потом, когда царь Македонский, Александр, покоряет персидскую империю, «царя вселенной» Дария, и красавец город-дворец Персеполь охвачен огнем, мы ни на чьей стороне, мы только против варварства и насилия, где бы оно не происходило. Мы не против парфян, вытесняющих из Персии царя Македонского, которых, в свою очередь, вытесняет с персидской земли царь Артаксеркс из династии Ахеменидов, который впоследствии был покорен арабами, владевшими персидской землей сто лет. Мы не против царей из династии Саманидов, вытесняющих из своей страны арабов, и не против Сасанидов, вытесняющих Буйдами, которых вытесняют Газневиды, а Газневидов — Сельджуки, а Сельджуков — Кара-Китай, а последних — Чингиз-хан. И позже, во время распада империи царя царей, мы спокойно, даже безучастно смотрим на столетнюю войну между туркменами *«Белого Барана»* с туркменами *«Черного Барана»*, которые поочередно захватывают то северные провинции Персии, то южные, сражаясь до последнего *«барана»*. Мы не заинтересо-

ны ни в «Белых Баранах», ни в «Черных Баранах», и нас не огорчает и не радует победа над ними грозного шаха Исмаила из династии Сефавидов, власть которого унаследовал впоследствии евнух Ага-Мохаммед-хан, от которого, странным образом, произошла династия Каджаров, царствовавшая до последних дней. И теперь мы только сторонние наблюдатели того, что происходит в этой сонной, медленно пробуждающейся от многовекового сна, стране; нам все равно, восстановит ли честолюбивый шах Реза Пехлеви и его, ныне царствующий, сын Мохаммед-Реза былую империю царя царей или останется она такой, как есть.

Нет, никогда мы не сможем стать даже приемными детьми этой чужой нам истории чужого государства, быть равными наследниками его прошлого, а навсегда останемся для него ференги, эмигрантами, нежелательными иностранцами. И будет эта страна нам убежищем, местом, где можно укрыться в непогоду, переждать, пока пронесется гроза, но не будет она нам родным домом.

У нас ничего нет — ни адреса, ни дома, ни постели, нам негде преклонить голову, а ребенок всегда плачет, просится домой, в тюрьму — у него не было еще другого дома. Ему нет еще и двух лет, но он знает, что такое горе! Дом наш — улица, мы всегда у кого-нибудь «в гостях», каждую ночь спим на чужой постели и чего-то ждем. Чего?

Но случилось так, что благородный узбек-лицеист Найдар Ходжа Мир Бадалев опять с нами. Он никогда не впадает в уныние; даже теперь, дожив до восьмидесятилетнего возраста, он все еще повторяет, что самое лучшее всегда впереди... Как не верить ему? Вот, совсем недавно домом нашим была улица, а теперь мы живем под кровом; у нас есть отштукатуренная комната

со странным потолком из грязно-голубого холста, напоминающего небесный свод в дурную погоду; он придает нашему жилищу вид шатра. Мы теперь спим в своей постели, дышим своим теплом, живем, как хотим, и ни к кому не навязываемся «в гости». Мы обрастаем хозяйством — судками и посудой, чадящей лампой и примусом, этими вечными спутниками нашей жизни, которые снова привязывают нас к земле. Мы научились считать персидские деньги, которыми балует нас Мир Бадалев из фонда «*Лиги*», как говорит он, но на самом деле — из своих личных сбережений; говорят, что Бухарский эмир Сайед-Алим-хан, нашедший приют при Афганском дворе, продолжает выплачивать ему содержание, как если бы он всё еще был министром его двора.

Но нам не нужны деньги: торговцы отпускают нам товары даром, трактирщики кормят нас бесплатно, лавочники зазывают нас в свою тень, угощают чаем, закармливают сладостями ребенка; даже хлебопеки и мясники, обманывающие бедняков, отказываются брать у нас деньги. Мы не страдаем от недостатка в воде — оборвыши-водоносы бесплатно наполняют наши порожние глиняные кувшины из своих прогнивших бурдюков «шахской» водой, которая ценится здесь наравне с долголетним выдержанным вином. У всех на глазах слезы — бедное тюремное дитя!

Все полицейские — наши друзья; они отдают честь младенцу, недавнему жителю тюрьмы, как если бы он был наследником шахского престола. Полицейские офицеры приветствуют нас издалека, как своих однополчан — они знают все наши тайны, они были при рождении ребенка... Непреступный, как скала, полковник Новахи, полицмейстер города, присылает за нами своих слуг, и они с почетом везут нас на паре выхоленных лошадей, запряженных в старомодный фаэтон — до-

рожке — на высоких колесах с мягкими рессорами, в его загородный сад — поместье. Он тоже любит детей! Сюда съехались все знатные особы города со своими раскрепощенными женами, и мы — среди них. Все хотят посмотреть на нас, они никогда не видали белых медведей и такого забавного белого медвежонка, прожившего первые годы своей жизни в тюрьме; женщины тянутся к нему губами, он переходит из одних женских рук в другие, все хотят поиграть с ним — он так похож на медвежонка!

— Бедное дитя! Он родился в тюрьме!

Они вздыхают, эти чувствительные персиянки, они говорят со слезами. Почему они плачут? Разве Христос не родился в яслях? А учеников Его разве не бросали в темницу? А святых и подвижников разве не предавали на муки и унижения? И все они прославились своими страданиями...

И когда жена подумала об этом, кто-то бесплотный, похожий на тень, стал шептать ей на ухо невнятные слова: «Не заблуждайся, мать, — сын твой будет несчастным среди несчастных!..» — и сгинул бесследно.

Она вздрагивает, оглядывается по сторонам, но никого нет близко; это похоже на галлюцинацию, на привидение, на вещий сон...

Добрый хозяин уводит нас в свои конюшни, показывает нам своих лошадей; он признает за лошадью только жеребцов, которых велит откармливать мякиной и смоченным ячменем. Есть у него поджарые туркменские жеребцы, очень выносливые, напоминающие английских скаковых лошадей, и золотистые кавказские карабахи. При виде хозяина они смешно присаживаются на задние ноги, как собачки, и приветствуют его передними, страдальчески улыбаясь при этом своими голыми деснами. Он очень доволен их рабской любовью,

треплет их по загривку, как детей, одаривает леденцами. Потом он ведет нас на псарню, где рычат от нетерпения английские доги, рвущиеся растерзать зверя, а резвые персидские борзые с гладкой шерстью ластятся к нему. На его зов слетаются бесстрашные сокола и покорно садятся ему на руки в надежде на скорую встречу с опасным зверем; они без труда уносят загнанную борзыми антилопу. Он показывает нам беспечных рыбок, для которых вырыт огромный водоем, напоминающий озеро, и вода в нем чиста и прозрачна, как воздух, и рыбки, откормленные земляными червями, не страдают от жары.

Полицмейстер доволен; он треплет русые волосы зачарованного ребенка, ускользающие из его рук, как солнечный свет; он покори́л ребенка, который ждет теперь от него новых чудес.

Потом нас угощают пиротехникой: небо зажигается и гаснет под влиянием фейерверков; взлетают горящие павлины во всем своем нарядном оперении, распуская огненные хвосты, и долго держатся на воздухе. Словно по безводной пустыне, проходит по небу огненный караван усталых верблюдов, и животные, сгорая в пламени, один за другим падают в бездну. Многочисленная челядь потешает в это время гостей римскими свечами, бешено бегая, как на пожаре; свечи вспыхивают в их руках, пламя вырывается из всех карманов их жилеток и штанов. А они бегают горящие и не сгорают... Все кричат, как при совершении обряда жертвоприношения: они не могут спокойно видеть огня. Это уже не развлечение, не легкомысленная игра с огнем, а что-то очень важное в их жизни — это похоже на мистическое богослужение.

Полицмейстер тоже расчувствовался при виде огня; он говорит, провожая нас, что всё в этом доме при-

надлежит нам; он просит нас унести из его дома всё, что нам приглянулось, чтобы сделать его счастливым... Какая всё это неправда! Мы знаем, что как только закроются за нами двери, полицмейстер тотчас забудет нас.

Но мы не одиноки в этой стране: много русских купцов со своими товарами поселились здесь навсегда; много и военных чинов русской императорской армии, служивших под командой генерала-от-кавалерии Баратова, и среди них — его адъютант и сподвижник, правовед Аркадий Нестерович Ганнибал, последний потомок генерал-аншефа Абрама Петровича Ганнибала, подарившего России Пушкина. Он сроднился теперь с Персией, вошел в ее жизнь, принял ее веру, и язык Корана стал ему родным языком. Среди персов он — перс, но персы называют его русским, каким он и есть на самом деле, и не может быть другим. Восток сближает нас, связывает нас дружбой, но не той «моральной дружбой», о которой писал Кант и которую Аристотель называл «важнейшей из человеческих привязанностей». Это была интеллектуальная дружба взаимно заинтересованных друг в друге людей, нуждавшихся в ней, как в питьевой воде.

Он уже теперь не Аркадий Нестерович, а Ибрагим (Абрам), присвоивший себе имя своего предка генерал-аншефа; женат на персиянке из знатного рода *сайедов*, унаследовавших халифат, и дети его носят мусульманские имена, происходящие от святых шиитского толка. Сунниты для него — вероотступники, они умертвили халифа Али, и Аркадий Нестерович плачет, вспоминая о его насильственной смерти.

Он всегда на молитве; его руки всегда у колен, слегка касаясь их, как этого требует ритуал, а спина выпрямлена перед тем, как согнуть ее в земном поклоне, про-

износя славословие; так повторяет он семь раз, хотя обряд допускает и пять, даже три.

Он смущен при виде нас, но не поднимается со своего молитвенного коврика, пока не положит последний земной поклон. Потом — он с нами. Мы разбираем с ним копии истлевших клинописей, рассказывающих о религии древних парсов, написанные на языке Авесты, который в близком родстве со знакомым нам языком *пехлеви*, ныне мертвым, как латынь. Это была религия света, сотворенная правителем вселенной, мудрым Аурамаздой, духом, не имеющим плоти, у которого нет другого орудия в борьбе со злым духом тьмы *Ариманом*, как только добро! Шесть добрых гениев всегда при нем — это духи правдивости, благомыслия, кротости, мудрости, господства и бессмертия. Они всегда на боевом посту, с первых дней сотворения мира, в непрерывной борьбе с темными силами Аримана, от которого произошло все зло на земле... Всё это изложено в священном писании парсов, в *Зенде-Авесте*, книге жизни, на двенадцати тысячах коровьих кож, и вошло в учение Зороастра, составленное из двух миллионов стихов...

И когда мы подходим близко к этим стихам-молитвам, в них раскрывается что-то очень близкое нам, давно знакомое, вечное.

— Вот, — говорит Аркадий Нестерович, склоняясь над копиями истлевших клинописей и припадая к ним, — неведомый никому в лицо, никем не зримый Зороастр говорит словами Христа задолго до Христа. Читайте! — и он водит пальцем, отмечая ногтем неразгаданные слова: — «после смерти, говорит Веста, душа благочестивого, шедшего по стезе мудрости, переходит через мост Чинват в обитель блаженных, в обитель славословия, в *Гаротман*, где судят добрые и худые дела; души же злые сгорят в самом худом месте...»

— Читайте дальше, читайте! — выкрикивает он от нетерпения.

И мы читаем с ним, разгадывая клинописные изображения, угадывая в них слова, догадываясь об их содержании: «и при конце борьбы светлого владыки вселенной Аурамазды с духом тьмы и зла Ариманом будет великий суд и воздаяние каждому по делам его...»

Аркадий Нестерович приходит в необычайное оживление.

— Разве подобные слова не повторены позже Христом?

Я охотно соглашаюсь, находя, однако, в этом только подтверждение извечной жизни Спасителя-Христа. Но почему, спрашиваю я, мудрый Зороастр избрал «душу» глупой коровы для обличения перед своим божеством грехов людей?

— Это представления пастушеские, — спешит оправдать Аркадий Нестерович греховные заблуждения своего древнего божества. — Мир животных, — говорит он, — им ближе и понятней мира людей, они делят поэтому животных, как и людей, на добрых и злых; для них убить доброе животное, подобное собаке или корове, — неискупимый грех, ибо этим ослабляется воинство Аурамазды в борьбе со злом. Но борьба со злом не бесконечна — они знают, когда завершится она, им известны все сроки, и тогда родится в мире искупитель Саошьян; он воскресит мертвых, рассудит их и водворит новое, бесконечное царство.

— Разве не о грядущем Христе говорят эти пастушеские представления о царстве небесном? В христианстве нет ничего нового; откровения о страшном суде, о воскресении мертвых, о бессмертии души принес на землю Зороастр задолго до Христа...

Он говорит, как безумный, вдохновение делает его неменяемым.

В вечном, говорю я, не бывает ничего нового... И я хочу понять, какими новыми откровениями прельстила его религия мусульман?

Но ему теперь все равно; он находится под влиянием новых заблуждений, и ему не хочется расставаться с обожествленной природой, с поэтическим образом *Митры* — бога солнца, с богиней луны *Маонгой*, с богиней звезд *Тиштрией*, с богом воздуха *Ваю*, с богиней воды *Ардвисурой* и, всего более, с олицетворением огня и света — богиней *Анантой*.

По зову хозяйки мы оставляем чудесный мир мифов и идем к обеденному столу, накрытому на земляном полу. Разгоряченный видениями древнего мира парсов, Аркадий Нестерович нарушает закон — мы выпиваем с ним по стопке водки, которая возвращает его из глубины веков к событиям недавнего прошлого; он рассказывает о походах, о наступлениях и отступлениях с отрядом генерала Баратова на Персидском фронте во время первой мировой войны, о сражениях с турками и немцами, о героическом рейде по пустынным нагорьям Месопотамии, чтобы выручить английские войска из смертельной петли, о победном возвращении в Персию, где русские войска держались стеной до рокового Октября; и тогда дрогнул фронт у Керманшаха и пала армия Отдельного Кавказского Кавалерийского Корпуса, рассеявшаяся по всей персидской земле... Генерала Баратова давно уже больше нет, от прошлого ничего не осталось, словно никогда его не было и, временами, он уже и сам не верит тому, что было...

Хозяйка дома упрасивает нас остаться на ночь, и на месте, где недавно был накрыт стол, она стелет для нас постель; мы спим вповалку под одним стеганным оде-

ялом, большим и ярким, как нескошенный луг, заросший полевыми цветами. Через открытую дверь входит к нам богиня луны Маонга.

.

Легкими бабочками порхали по городу слухи о родственной губернатору русской семье, которая переезжает на жительство в Мешхед из далекого французского Марокко. Уже все знают, что он из хорошей военной семьи, служил в иностранном легионе, стал архитектором, но по его проектам еще не был построен ни один дворец и ни одна лачуга. Его молоденькая и премиленькая жена из купеческой семьи, когда-то богатой, приходится губернатору свояченицей, хотя мало похожа на свою знатную старшую сестру. Губернатор непременно поставит его на какую-нибудь важную и доходную должность (ведь у него такая премиленькая жена!), и тогда всем русским эмигрантам будет лучше... А какие у них дети! Они похожи на котят — на котика и кошечку... Какая завидная, безоблачная у них семейная жизнь!

С тех пор, как губернатор породнился с русскими через свою жену, он, говорят, стал не безразличен к судьбе русских в изгнании. Вот и меня везут теперь к нему в замок. Зачем? Никто не может знать, что у губернатора на уме, какие чувства руководят им.

Замок губернатора — старинная постройка со сторожевыми башнями, обнесенная двойной стеной и глубоким рвом, напоминает настоящее укрепление. У наружной стены замка ходит без дела часовая, но большую часть времени он дремлет в будке. За внутренней стеной — двор, выстеленный изразцами, и дорожки, покрытые красным песком. Дальше расположены службы с амбарами, сараями, подвалами и, конечно, конюш-

ни, которыми гордятся знатные персы и которые служат «бестом» — убежищем для всех, спасающихся от правосудия, наравне с мечетями и гробницами святых. Здесь много вооруженных людей, маршируют солдаты, слышна команда, как будто замок осажден врагами. Из глубины темного, как склеп, помещения, словно из глубины средних веков, появляется грозный губернатор, похожий на большой столетний дуб. Я жду несчастья, а он протягивает мне обе руки, как для объятия. Мы идем по узким и темным коридорам, никогда не видавшим солнечного света, точно из грота в грот на дне пещеры, и выходим вдруг на веселую солнечную площадку, затененную багровыми розами «Махмуди», полюбившимися пророку; они тянутся к замку, заглядывают во все окна, склоняются над перилами, проникают во всякую щель своим дыханием. За резною дверью — большие, роскошные помещения, его апартаменты, его приемные и ванны, салон жены с тяжелой мебелью и без ковров; ковры укрывают бедность, они нужны там, где ничего нет.

Мне неловко, я невыгодно выделяюсь среди этого великолепия и комфорта в своих изношенных персидских лаптях, *шивэ*, и в костюме, сшитом тюремным портным из казенной рогожки. Но губернатору, видимо, всё равно, во что одето человеческое страдание; он говорит, что враги его врагов — его друзья, не скрывая от меня при этом, что ему нужно сохранить «дружбу» со своими врагами... Теперь, говорит он, настало время, когда жертвы, принесенные для меня моей семьей, заслуживают того, чтобы и я принес для нее в жертву свои, может быть, жизненные интересы... (О чем это он?). Он предлагает мне службу, как сделку с совестью, с хорошим содержанием, на которой не трудно будет мне выслужиться и беспечно прожить долгую жизнь,

при условии, что я забуду все, что было раньше, откажусь от прошлого, никогда больше не вернусь к своей профессии журналиста, перестану писать... Вот условия моей свободы!

Какими страшными показались мне тогда его слова! Однако мечтания постепенно оставляют меня: надо добывать хлеб, чтобы прокормить семью. Губернатор прав — настало время, когда нужно принести в жертву свои жизненные интересы...

У меня была нелегкая в то время работа — ловить мошенников среди подрядчиков, доставлявших гравий, цемент и асфальт для прокладки дорог. Всегда я недо считывал многих мешков, многих подвод, всегда они меня надували. И хотя эта безрадостная работа не причиняла мне нравственных страданий, какие испытывал я, работая корреспондентом «Известий» в Москве, но тем не менее, я изнывал от такого недостойного труда. И вот, теперь, губернатор определил меня на городскую службу в должности инспектора технических работ, к которой я не был подготовлен. Но мне никто не верит: писать в газете статьи куда труднее, чем строить дороги и мосты!

Так стал я персидским чиновником.

У всех чиновников были какие-то звания, титулы и чины, которые выслужили они всей своей жизнью.

У них был обычай, освященный веками — брать взятки, как вознаграждение за свое безделье; нет ничего унижительного в том, что приносит доход. У каждого чиновника я находил на столе томик изречений Омара Хайяма, словно молитвенник, но не для чтения; это при манка для просителей, в которую они вкладывают взятку, как подаяние в суму. Они хотят приучить и меня к своим уловкам, ибо чиновник, говорят они, не берущий взятку, отпугивает просителей, не пользуется их

доверием... В то время я только и думал — как обмануть губернатора, отобравшего у меня свободу в обмен на эту постылую службу. Что ни день приходит почта с заманчивыми предложениями; уже шлют из-за океана договор на издание еще не написанной книги. Какой соблазн! Какое искушение духа!

Время от времени я нарушаю обет — печатаю очерки в зарубежной прессе, в надежде, что губернатор давно забыл меня. Говорят, что теперь, с приездом родственной ему русской семьи из французского Марокко, губернатор совсем потерял голову: премиленькая свояченица свела его с ума. Одни, негромко, поругивают за это губернатора — он украл наслаждения, которые по праву принадлежат одному лишь законному супругу; его следовало бы судить, как вора, забравшегося в чужой дом и унесшего из него всё достояние его владельца. Но люди мудрые и рассудительные полагали, что в неблагоприятных поступках жены всегда бывает повинен муж; разве он сам не волочился за туземными женщинами в Марокко?

Но, как бы то ни было, губернатору теперь не до меня, и можно надеяться, что к нему не дойдет нелепая молва, будто я раскрыл все тайны Кремлевского двора... Какая чепуха! Но уже во всех публичных банях только и говорят теперь об этом, мое имя переходит из уст в уста, из бани в баню...

Нигде так не оживает душа перса, как в публичной бане, где можно узнать цены на товары, которыми торгуют на всех базарах страны, о курсе иностранной валюты, о мошеннических проделках министров и депутатов *меджлиса*-парламента, о семейных дрызгах, о любовных тайнах и политических интригах в шахском дворце. Среди жизненных развлечений, которыми так бедна Персия, где безделье почитается за наибольшее

удовольствие, ничего лучшего не могла придумать для персов жизнь, как публичную баню. Приближаясь к низким и широким ее дверям с изображением на них «льва и солнца», персы приближаются как бы к вратам рая. Смрад предбанника веселит душу перса, как аромат полей. Красные простыни с синими полосами, которыми перевязывают они свои чресла, обещают много наслаждений. Задыхаясь от едких и зловонных паров депилатория, они переживают в то же время радость второго рождения; депилаторий очищает их тела, как молитва праведника очищает душу грешника. Под урчание кальяна медленно течет беседа. Все тянутся теперь к чаю, возбуждающему желания. Все втихомолку курят опиум-терьяк, и сладкий его запах кружит голову. Приносят надтреснутые гранаты, из которых, как из раны, сочится сок, напоминающий кровь; приносят плотные гроздья винограда, которые валятся под своей тяжестью с лозы; приносят медовые дыни, созревшие в далеком Исфагане; от персиков отражается солнечный свет — при легком к ним прикосновении они обливаются соком, как слезами.

Беседам нет конца. Здесь уже все знают о новой русской наложнице губернатора. Как ей повезло! А муж? Его не допускают к ней; она живет в замке, а он впал в нужду, выклянчивает у нее деньги.

Эти банные сплетники раскрывают и мои тайны: они уже знают, что меня ждет трудная жизнь, что губернатор не простит мне моего вольнодумства... Эти русские, говорят они, никогда не бывают довольны тем, что есть; разве можно желать в жизни чего-либо лучшего, чем служба чиновника, которому никто не мешает дремать в часы работы и безнаказанно брать взятки...

И опять мечтаниям моим приходит конец — опять куда-то увозят меня с семьей на вечное поселение, как

можно дальше от цивилизованного мира, в заштатный городок Шахруд, прикорнувшийся у южных склонов хребта Эльбруса. Он так мал, так запущен и заброшен, что его можно принять за персидскую деревушку. Никто из жителей не знает ни названий улиц, похожих на переулки, ни номеров своих домов, и никто не может рассказать, где он живет. Эти улицы не имеют ни начала, ни конца, они точно вырыты кротоми, но все они приводят к недавно проложенной здесь автодороге, привлекающей к себе всех нищих, бездельников и карманных воров. Скоро, говорят, будет здесь и железная дорога, но сейчас другой дороги нет, и она ведет в столицу, в Тегеран, который просвещенные персы, не в шутку, называют маленьким Парижем; он и был переустроен в начале 80-х годов 18-го столетия по примеру переустройства Парижа Наполеоном Третьим. Мы вздыхаем, провожая каждый автобус в эту загадочную столицу, как если бы он отправлялся в другую страну, в которой никогда не приведется нам жить.

Но и здесь живут люди, они что-то делают, зачем-то рождаются, для чего-то живут, как и в других городах, в других странах, на всей земле. Здесь даже спокойней, тише; никто не читает книг, не заглядывает в газеты, они не знают, какою жизнью люди живут, какою смертью помирают... Но вот беда — нет здесь ни больницы, ни доктора, ни аптеки, а жена уже на сносях: мы ждем третьего ребенка. Но и здесь, каждый час, ночью и днем, во всякое время года, из поколения в поколение рождаются дети, так, сами по себе, как овцы и козы, но не многие выживают.

Но зато, как много здесь хлеба, испеченного на раскаленных камнях, как много козлиного мяса, овечьего сыра, фруктовых садов, виноградников, спускающихся с гор террасами, сушен и давлен, и базар набит вся-

ким залежалым товаром; много здесь кувшинов из необожженной глины, чтобы лучше стыла в них вода, казанков, выдолбленных из камня, чтобы никогда не стыла в них приготовленная пища, обуви из недубленной кожи. Есть здесь и спичечная фабрика, прибежище всех бедняков, — и шерстепрядилка — место увядания женщин и детей

Встречает нас *кед-хода*, староста, как в деревне, безвредный старичок, наблюдающий за порядком. Он уже спозаранку ждет нас в караван-сараяе, чтобы достойно встретить ссыльных-иноземцев и куда-нибудь их поместить — такая у него служба. Он быстро породнился с нами, доверяет нам свою печаль и обиду на давно умерших своих родителей за то, что они не обучили его грамоте; вот он и не знает, как записать наши имена, место и год нашего рождения, и во всем должен полагаться на писаря.

— Не печалься, старик, — говорю я, — многое есть в жизни, чего лучше не знать...

Кед-хода находит для нас глиняную хибарку-лачугу без окон, со двором, где можно держать и овец, и осла, и вола, и разводить птицу... Вот только проточная вода далеко от дома, на расстоянии нескольких мейданов, поприщ, и ходить за ней нужно пораньше, при темноте, когда еще не моют в ней женщины белья, не пригоняют к ней скотины, не сбрасывают в нее нечистоты со всех дворов.

В полицейском участке нас тоже принимают как своих — он всегда был нам родным домом. Нам спокойно, когда мы видим здесь людей в полицейской форме; они с первых дней стерегли нас в своей стране, как пастухи стерегут овец, они были нашими телохранителями, мы обязаны им своею жизнью. Они были нам друзьями в темнице и на воле, в пустыне, когда мы умирали от

жажды и просили накормить; они делились с нами своим хлебом и крошками овечьего сыра, позволяли подавать нам из жалости милостыню и не отбирали ее у нас; они и теперь будут с нами...

У нас уже все есть, что нужно здесь для жизни — горластый петух с большими и сильными крыльями, как у коршуна; куры едва успевают нестись, плодят нам цыплят, которым мы не знаем счета. Есть у нас и утки с утятами и гуси с гусятами. Мы всегда с ними, а в другое время — на войлочном ковре, где всё под рукой, свалено в одно место, и дети уже переняли привычки персидских детей, они не умеют сидеть на стуле; мы спокойны за них — скорпионы не взбираются на войлок, боятся шерсти, а тарантулы бегут от запаха верблюда.

Иногда приходит к нам русский фельдшер, давно живущий в этой глухой тиши, со времени первой мировой войны; он часто вспоминает генерала Баратова, последнего известного ему русского полководца, в отряде которого он служил санитаром; он ждет, когда генерал Баратов снова призовет его в свою часть.

У него очень беспокойные глаза, и цвет их меняется от постоянного нетерпения — они кажутся зелеными, как морская вода, или желтыми, как пески пустыни; иногда загораются они красным светом, но быстро гаснут. Он всегда рассказывает одно и то же о жизни в Тульской губернии — там у него есть своя земля, которая принадлежит ему по закону наследства, оставленная ему еще дедом. Когда он вспоминает деда, глаза его загораются красным огнем, сверкают, слезятся — его любовь к деду нельзя отделить от его любви к родной земле, к скотине, к озимой и яровой пшенице. Он говорит об оставленных там без присмотра своих лошадях, как о сиротах, помнит каждую по имени, и не верит,

что их давно уже свезли на живодерку. Он похож на душевнобольного, он живет не здесь, а все еще там, и ждет, когда же генерал Баратов восстановит старые порядки, чтобы он мог получить обратно свою землю.

Он всегда торопится, точно боится опоздать на поезд, который должен отвезти его в Тульскую губернию, к его земле, и он хочет поспеть ко времени сенокоса. Он очень обеспокоен, что до своего отъезда не успеет принять нашего ребенка, и страдает раздвоением чувств. Он никого не знает из местных знахарей и повивальных бабок, кому можно доверить принять его.

— А ведь это не такое уж мудреное дело, — говорит он, не вполне уверенный в самом себе. — Надо только вовремя перехватить пуповину, чтобы не удушить ею младенца...

У нас тоже нет к нему доверия, он чего-то боится, и не всегда при своем уме. Но его врожденная порядочность успокаивает нас; вот и персы ходят же к нему со своими недугами и болячками, и он облегчает их.

Мы уже ко всему здесь привыкли, со всем примирились, ни на что не жалуемся, и временами нам кажется, что Шахруд будет последним нашим местожительством на земле. Он будет и местом нашего упокоения.

VI. НАШЕСТВИЕ ИНОПЛЕМЕННЫХ ВОЙСК

Персы любят тишину и покой. Их неторопливость и умеренность происходят не от праздности и лени, а от духовной зрелости; им некуда торопиться, они уже все узнали, все поняли и точно отделили хорошее от плохого. Дуализм старой веры, различающий только свет и тьму, добро и зло, всё еще живет на дне души этих ревностных последователей ислама. Тайной является для них земная жизнь, но не небесная.

Персы находят радость под каждым деревом, мимо которого протекает небольшой ручей. Они могут сидеть у такого ручья от восхода до захода солнца, спокойно созерцая уплывающую мимо них жизнь, как вода в ручье, оставаясь безучастными наблюдателями, а не соучастниками этой жизни. Зачем тревожить себя напрасными желаниями? Им нужен не жизненный комфорт, а комфорт души.

Тишина и покой — в этом вся земная радость перса.

Такая душевная усталость привела былую империю царя царей к оскудению и упадку; страна находилась в состоянии полного разложения, когда персидский сербаз, солдат, служивший в Русской Казачьей Бригаде, произведенный позже в полковники, провозгласил себя царем царей. На месте одряхлевшей Персии появился исторический Иран, предполагавший объединение всех арийских племен, населяющих под этим наименованием обширное плоскогорье. Честолюбивый Реза-шах Пехлеви, для утверждения прошлого, назвал себя по имени древнеперсидской письменности *пехлеви*, давно вышедшей из употребления: его привлекало прошлое величие

своей страны. Но наряду с такой любовью монарха к старине, он вытеснил из жизни персов всё, что унаследовали они от предков, заменяя прошлое западной культурой и цивилизацией.

С этого времени персов обучали новой жизни, как учат малых детей ходить. Полиция строго следила, чтобы население городов и деревень ничем не отличалось от европейцев. За небритую бороду судили, как за государственную измену. Тяжело было персам отказаться и от войлочной шапки, которую не снимают они ни на молитве, ни при еде, ни на время сна. Новый закон предписывал всему мужскому населению носить верхнее белье поверх нижнего, не появляться на улицах в исподних штанах. Малолетним девочкам не разрешалось больше вступать в брак. Чадра, с которой связано у персиянок понятие о женской чести, была объявлена вне закона.

Отвыкшие от труда персы потянулись теперь на строительные работы, прельщаясь звоном серебряных монет; с ними расплачивались только серебром, и каждый землекоп, чернорабочий, человек без навыков и знаний, уносил домой тяжелый мешочек, туго набитый серебром.

Перестала быть почетной мелочная торговля, которую персы предпочитают оптовой. В скобяных лавках торговали теперь сталью, прокатным железом, цементом, асфальтом. Все обогащались, наживались подрядчики, а строительных инженеров сравнивали здесь с нефтепромышленниками. А ведь совсем недавно самым доходным занятием было здесь нищенствование и попрошайничество. Посевную площадь измеряли здесь метрами и сантиметрами, а воду — литрами. По размерам бассейна в персидских дворах узнавали о благосостоянии хозяина. Каждую струю воды персы назы-

вают рекой. И несмотря на то, что Иран славится садами, они обнесены такими плотными заборами, как будто там содержится золотой запас страны. Перс приходит в необычайное волнение, когда дети лазят по деревьям или топчут траву. Редко кто из персов знает название для зеленой площадки или широкого поля, называя всякое открытое место *биябан*, что значит по-нашему пустыня, степь.

— Если бы у нас было столько воды, сколько есть у нас нефти, — жаловались мне персы, — мы накормили бы хлебом всех, живущих на земле. Земля без воды, все равно, что женщина без мужчины...

Коммунисты возлагали большие надежды на бедность; успехи Реза-шаха в преобразовании страны раздражали их. Все теперь только и говорили здесь о невидимых большевиках, которые всюду и нигде, и живут среди людей, как злые духи Аримана. Неожиданно обнаруживали советского провокатора в захудалой лавчонке, где богобоязненный перс, с головой, перевязанной чалмой, и с четками в руках торговал завалющимися товарами. Рассказывали, что в тюрьме умер министр двора Тимурташ, персидский ученый и аристократ, который втихомолку вел дружбу с советской разведкой. Много говорили о шоферах, живущих по двум паспортам — персидскому и советскому, а транспортные конторы называли притонами коммунистов. Дурной славой пользовалась в Тегеране советская больница; под видом директора больницы скрывался резидент советского шпионажа на всем Ближнем Востоке.

В то время война приблизилась к персидским границам. Появилась на свет персидская партия «*Тудех*» с ленинскими лозунгами, призывающими к грабежам. На веселых улицах столицы появились подозритель-

ные торговцы апельсинами; они проникали во все дома, выкрикивая на плохом русском языке:

— КАрощЫй сладкЫй апЭлсЫн!..

Все знали, кто скрывается за этими душистыми апельсинами.

Чувство страха, связанное, вероятно, у персов с исторической памятью о нашествии иноплеменных войск, быстро распространилось по всей стране, когда стало известно, что советские моторизованные части перешли персидскую границу. Нельзя было понять, чего больше боялись персы: бомб, падавших на их тихую, уснувшую землю, или людей, бросавших эти бомбы. Было жалко смотреть на кричавших среди улицы персов: «мордем!», что значит — «я уже умер!». По всем дорогам, по тропинкам хоженным и нехоженным, можно было встретить толпы бедняков, уносивших от коммунистов свои кастрюльки, самовары и ковры. Пастухи угоняли стада в горы, потому что не хотели променять своих баранов на социализм.

Красные танки уже приближались к Шахруду, а мы беспечно разводили кур, собирали яйца, выводили цыплят, наполняли водоем водой для страдавших от жары уток, таская ее кувшинами и ведрами из дальнего канала-арыка. Месяцами я жил вне дома, в десяти долгих фарсах от Шахруда, на линии, где прокладывали шоссейную дорогу Мешхед — Тегеран, со строительной группой русских и чешских инженеров. Что могли мы знать, живя в этой знойной пустынной местности, никем не населенной, на краю земли, о происходившей войне между двумя тиранами? Ведь еще совсем недавно они были близкими друзьями!

Днем мы сторали на солнце с нивелирами, а ночью отдыхали за чертежами в ожидании питьевой воды; ее привозили с гор вместе с недавно выпавшим там сне-

гом. При отряде была одна старая, покорная, молчаливая персиянка; она готовила для нас обед, стирала белье, поила нас во всякое время чаем, и была для всех родной. Она с беспримерной заботой упрашивала нас тогда ехать домой, потому что везде тревожно, и пастухи не знают, куда прятать овец от чужеземных солдат... А я с прежней беспечностью жду своего дня отъезда на побывку к семье, мне было рано еще считать дни, не пришло еще мое время, тогда как красные танки уже шли по проложенной нами дороге, оставляя на пути сторожевые посты.

— Чего же вы ждете? — закричал на меня мой начальник чех, человек уравновешенный, добропорядочный, никогда не повышавший и не понижавший своего голоса, делающий всякую работу не торопясь. А теперь он ворвался в палатку, как песчаная буря, за которой идет разрушительный смерч.

— Разве не говорила персиянка, что они уже скоро будут тут, и вас первого зарежут, как свадебного барана...

Не теряя времени, он втолкнул меня в свою машину, и со скоростью, с которой ездят только пьяные, меньше, чем за час проехал долгих десять фарсахов (почти сто километров!), и машина осталась жива.

Дома жена развешивала на веревке стираное белье; птица ходила за ней, куда бы она ни шла, клевала ее за ноги, просила проса; кричали петухи; утки возились в воде, приучали утят плавать, и гуси, не сердясь, выходили из воды, уступали им место.

— Надо бежать, — говорил я, — и как можно скорей... — не сознавая еще, куда и как бежать.

— А птица? — спросила жена, и вся насторожилась. — Нельзя же бросить птицу без присмотра, без корма; она будет кричать, звать меня...

— Бежим, — повторял я, не вполне понимая тогда, о чем она говорит, когда, может быть, и нам осталось жить очень немного.

Но куда и как бежать? Не пешком же убежать нам с детьми от надвигающихся танков? В гараже, говорят, готов к отъезду последний автобус, нанятый богатой венгерской семьей; они тоже, подобно нам, бегут от красных. И вот, мы бросаем всё, как есть, и с напуганными и некормленными детьми бежим к спасительному автобусу; только бы не ушел без нас! Вспуганная птица, предчувствуя несчастье, гонится за нами; утки бросают в воде своих утят, едва успевают на своих кривых ногах за нахохлившимися курами. Лучше не смотреть на них, не видеть их, забыть, что они есть... Мы знаем, что долго еще они будут звать нас, и мы не услышим их... Треплется на веревке не просохшее белье, на полу не мытые тарелки, стаканы, судки; по всей лачуге разбросана постель... Не в первый раз бежим мы от «своих» к чужим! Только бы не ушел без нас автобус! Вот и он; у закрытой двери автобуса стоит красивая венгерка; она отгоняет нас, она говорит, что в автобусе для нас места нет. Как это возможно? Я ей не верю — она говорит это из нелюбви к русским; она не может понять, почему русские бегут от русских?

— Нет, — кричит она на нас, — я не намерена уступить вам свою жизнь!

Она говорит несвязно, ее трудно понять, но я спокоен, я не верю, что этот последний автобус уйдет без нас. Меня научил спокойствию мой мудрый друг каменотес-философ Хаджжи-Ага; старый, как черепаха, он всегда сидит свернувшись на коврике перед бассейном и, перебирая четки, пьет чай.

— Хаджжи-Ага, — говорил я, не скрывая своей тревоги, — почему вы так спокойны, когда вся ваша страна охвачена паникой, как пожаром?

Помню, как усмехнулся он и, не спеша допивая чай, медленно произнося слова, сказал:

— Дорогой мой друг, разве Бог не везде с нами? Поверьте мне, Бог сильнее большевиков!

И пока я вспоминал эти утешительные наставления моего друга каменотеса-философа, красивая венгерка растворила вдруг перед нами двери автобуса, подхватила нашего кричащего младенца, усаживала поудобнее напуганных наших ребят и, кормя их венгерскими сладостями, истерически вскрикивала со слезами:

— Как это я могла! как я могла!

Слезы мешали ей говорить.

— Что же вы не входите? Входите!..

Это было очень похоже на евангельское чудо, это мог внушить ей только Бог.

— Входите!.. — и слезы, крупные, радостные слезы, освежающие, как утренняя роса, орошали ее просветленное лицо.

— Разве вы не знаете, что этого хочет Бог?

И вот, нет больше Шахруда, клубится пылью за нами дорога, и раскаленное солнце тоже кажется нам в пыли. Лучше не смотреть на дорогу, не считать фарсах, не знать, где мы. Скорее бы доехать до Дамгана, а оттуда до Семнана, — еще длинных пятьдесят фарсахов, еще три часа хорошей езды, — и тогда уже мы будем близко к Арадану, последнему населенному месту под Тегераном, где начинается нейтральная зона, защищенная союзными войсками... Танки не страшны нам, рассуждают венгерцы, они не могут поспеть за ходом автобуса; страшны не танки, а разведывательные отряды, прочищающие им путь; они летают по земле

на своих «джипах», как вертолеты в небе, они без труда могут настичуть нас, если захотят...

Мы пересчитываем фарсахи на мили, читая их на спидометре, и не можем подсчитать пройденного автобусом пути. Ведь персы измеряют фарсахом не расстояние, а время, и для едущего на осле оно, конечно, много длиннее, чем для едущего на коне, а тем более для едущих на машине в триста-четыреста лошадиных сил. И мы никак не можем отделить время от пространства.

Но вот, и Дамган уже позади, и это название западного городишки на краю азиатского материка приобретает для нас значение Ватерлоо. Теперь мы уже на пути к Семнану — этого места тоже забыть нельзя; здесь уже красному произволу приходит конец, этого не позволяет им взаимный договор дружбы с союзниками, они не станут сейчас раздражать своих вынужденных друзей, когда надо защищать свой дом от опасного врага...

.

Тегеран выходил уже из своих окраин, поглощал предместья, продолжая жить своей мирной жизнью большого азиатского города. Улицы, как всегда, были наполнены праздными людьми. Запах съестного кружил голову прохожим, и трактирщики ловили голодных на «палочку» кебаба. Отовсюду наступали на прохожих продавцы фруктов, неся на своих головах фруктовые сады. Голубые автобусы с дребезжащими кузовами гонялись за пассажирами, оставляя на дороге раздавленных колесами бродячих собак и сбитых с ног раненых лошадей.

В эти дни особенно бойко шла торговля на базаре. Черный склеп, закрытый навсегда от солнца, казалось,

шевелился от людей, ослов и мулов. Здесь можно было встретить хлам, который давно уже вышел из употребления и, наряду с ним, дорогостоящие ковры, над которыми трудились персидские дети, пока не состарились. За такой ковер можно купить дом или стадо овец, или целое селение. Нигде, как здесь, нельзя увидеть такого изобилия серебра, выставленного рядом с битой посудой и глиняными черепками. Золотые монеты разных времен, народов и стран лежали грудками на простых обеденных тарелках. Трудно было поверить, что в этих гниющих трущобах с острым запахом разложения лежат неисчислимыые земные богатства.

Тегеран все еще был нейтральным городом, свободным от коммунистов, в то время как север Ирана оккупировали советские войска; он был теперь для персов за границей: туда уже нельзя было ни проехать, ни пройти без разрешения советских властей, и жители своей страны подвергались оскорбительным обыскам и недостойным допросам иноземных солдат. На юго-востоке страны курдские племена, промышлявшие грабежами, были вооружены коммунистами и обещали построить социализм. Соседние с ними провинции находились под угрозой их завоевания. На нефтяных промыслах юга происходила «классовая борьба» за овладение нефтью большевиками.

— Чего хотят от нас эти люди в кепках? Почему они мешают нам жить? — жаловались наивные персы, когда большевики устраивали беспорядки, вооружали одну провинцию против другой, призывали рабочих не работать, крестьян не сеять, пастухов не пасти овец. Во всех харчевнях, на проезжих дорогах, в караван-сараях, в нищих землянках и в палатках пастухов — везде, где только живет человек, говорили теперь о коммунистах. Их сравнивали с древними мидянами и пар-

фянами, с арабами и монголами, со всеми нашествиями иноплеменных войск, от которых страдала Персия, и которых называют здесь *гасеб*, что значит захватчики или агрессоры. С набожным чувством персы обращали теперь свои лица при молитве к Объединенным Нациям, как будто могила пророка была перенесена из Медины в Нью-Йорк.

Никто не ожидал, что в такое неустойчивое время крепкий, как камень, Реза-шах Пехлеви отречется от престола, чтобы угодить союзникам, которые, в свою очередь, старались угодить «доброму дяде Джо», точившему на них нож. Старого шаха оплакивали друзья и недруги, когда в 1941 году он увозил в Египет свою померкшую славу вместе с горстью рыжей персидской земли. На престол взошел возлюбленный его сын Мохаммед-Реза, которого женил он, тогда еще наследника, на принцессе египетской Фавзие, сестре короля Фарука, умершего позже в изгнании от пресыщения. Этот брак за глаза не принес счастья ни ему, ни ей. Их счастьем не помогли ни свадебные карнавалы, ни уличные шествия толпы с факелами и зеркалами, ни парады войск с шумным барабанным боем, ни выстроенный для них дворец из редкого розового мрамора. Родившийся от этого брака ребенок не сблизил родителей, а послужил поводом для развода; это была прелестная девочка, а шах требовал от жены мальчика. Теперь шах снова, в третий раз, женат, а бывшая шахиня снова замужем.

Молодой шах во всем отличался от своего прославленного отца. Если отца его обвиняли в жадности, то сына следовало бы обвинить в расточительстве. Многие говорят в насмешку, что шах скоро пойдет с сумой. Он уже отказался от оставленных ему отцом земельных угодий и поместий в богатом Мазандеране; он раздает крестьянам землю, отобранную у них его алчным отцом.

Он тратит наследство отца на постройку школ, приютов, больниц. Он хочет строить, строить, строить, тогда как в персидском Азербайджане все еще стоят советские оккупационные войска, угрожающие жизни столицы: они то придвигаются к Тегерану, то отходят от него, когда союзники прикрикивают на них; можно подумать, что Иран находится в состоянии войны со своими советскими союзниками.

В такое время прилетел из Москвы в Тегеран советский министр Кафтарадзе, чтобы отобрать у персов нефть. Иранский премьер осторожно напомнил ему о советских войсках, все еще занимающих север страны, когда война уже давно кончилась и все сроки для увода войск уже давно прошли; при таком положении преждевременно говорить о нефтяной концессии.

Тогда все торговцы апельсинами, говорящие на плохом русском языке, и подозрительные люди в кепках, завезенные в Иран советскими войсками, устроили демонстрацию протеста; они обещали зарезать премьер-министра, как барана, а шаху отрезать голову, если он не отдаст большевикам нефть.

Теперь никто не сомневался, что персидской независимости пришел конец.

— Эти русские, — говорили теперь открыто персы, — совсем потеряли совесть. Они приходят в дом своего друга-союзника, который отдает им всё, что у него есть, чтобы помочь им в беде, а они за это делают ему пакости. Как можно в одно и то же время быть другом и врагом?

Другие пугливо спрашивали — какие часы больше любят советские солдаты: ручные или карманные? — имея в виду, на случай опасности, выкупить за них у дикарей свою жизнь. Многие срочно принялись изучать отдельные русские слова, которые больше всего ласка-

ют слух советского диктатора. Вскоре все уже знали, что если кому дорога жизнь, то следует тирана называть добрым отцом или ясным солнышком, а пытки, которым он подвергает мирное население, — нежной лаской.

Но случилось нечто непредвиденное; как будто по велению небесных сил бесплотных, советские войска внезапно оставляли Иран, как в свое время варвары оставляли Карфаген. Видно, одной войны было им довольно. Персы ликовали! Они устилали улицы коврами, выносили наружу всю роскошь своих домов, покрывали стены зеркалами, чтобы в них отражалась радость страны. У каждого дома горели, днем и ночью, газовые фонари, как неугасимое пламя поклонявшихся огню их предков. Никто не жалел в эти дни воды, чтобы смыть следы иноплеменных войск, поливая улицы. Старики резвились на улицах, как малые дети. Теперь они могут снова жить своей жизнью, быть подданными своей страны, почитать своих предков, любить своего шаха и молиться своему Богу.

.

День был солнечный, но холодный, как это бывает здесь в январе, когда в горах Демавенда, у подножия которого лежит Тегеран, метет метель. В такие дни персы не расстаются со своими мангалами-жаровнями с тлеющими углями, покрывают их стегаными одеялами, под которые уходят с головой. Но сегодня шах Мохаммед-Реза, впервые после ухода из страны иноплеменных войск, принимает парад на площади *Тупханэ*. Он снова шах в своей стране! В такой день нельзя оставаться под одеялом. Люди брали с собой пылающие мангалы и шли на площадь: все население столицы было сегодня тут.

Проходила пехота, вооруженная автоматическими ружьями отечественного производства; тащили на лошадях сохранившиеся от старых времен полевые пушки, установленные на лафетах, которые заряжают из дула ядрами и картечью; их производят на заводах автоматического оружия и снарядов в Султанабаде, в местности Арак. На тачанках времен нашей гражданской войны проходили пулеметные подразделения, недавно выпущенные Тегеранским пулеметным заводом, и толпа встречала их с особенным энтузиазмом, как своих детей; в Тегеране размещена была вся иранская военная промышленность того времени — военный арсенал, пороховые заводы. С возгласами и криками «зиндэбад шах-эн-шах!» — «да будет жив царь царей!» встречала толпа кавалерийские части с изогнутыми саблями в руках, на красивых, чистокровных, низкорослых, быстроходных арабских скакунах, похожих на жеребят; пролетали над толпой эскадрильи четырехкрылых военных самолетов, собранных авиасборочными мастерскими в Тегеране. Шумный и бестолковый духовой оркестр разгонял тоску.

Шах был европейцем, и только в жилах его текла азиатская кровь. Он понимал, что с такой армией и ее антикварным вооружением не защитит ему границ, а ведь он помышлял о былой империи! Но у него есть неисчерпаемые залежи нефти на юге, которую выкачивают теперь *Нафтешах и Лали, Нафте Сефид, Хафт-Кель, Месджесе-Сулейман, Ага-Джари* и многие другие, приносящие уже теперь не малый доход стране. Но у него есть крупные месторождения нефти и на севере, в Иранском Азербайджане, и на южном побережье Каспийского моря, и в Хорасане... Надо только прибрать всю эту нефть к рукам, стать ее полноправным хозяином, и тогда он сможет создать сверхмощное государ-

ство, империю царя царей! О, он обратит тогда все доходы от продажи нефти на предприятия военной промышленности, он закупит всё лучшее, самое мощное и неотразимое, что произвела Европа и Америка для войны. Он хочет, чтобы будущее величие Ирана превзошло его великое прошлое... (Говорят, что честолюбие молодого шаха превосходит честолюбие его отца!).

Безобразная толпа прорывала тем временем охрану, все кричали: «Да будет вечно жив первый из людей, подобный халифу Али!», «Да здравствует во все века царь царей!», «Да не померкнет слава Ирана во все времена!» — и многие другие славословия, которыми богат персидский язык. Воздух вздрагивал от безмерной радости, земля колебалась от подъема чувств, и тогда, никем не замеченный, вырвался из толпы неприметный человек и открыл по шаху огонь. Кто он? О, это из тех, кто требует, чтобы шах отдал большевикам нефть. Какое безумие! Какое пренебрежение к собственной жизни! Или это непомерное самолюбие толкает людей на смерть?

Преступник не избежал самосуда толпы, страшного по своей жестокости, а шах остался жив. Как это возможно! Его не берет пуля! Он сродни святым!

И опять город на военном положении, как в дни войны, опять на улицах отряды вооруженных солдат, наряды конной и пешей полиции; патрули на каждом углу — они стоят группами, разжигают небольшие костры, опускают в огонь зябнувшие руки. От утреннего солнца снег на горах кажется розовым, румяным. Далеко, на краю земли, одиноко стоит, как памятник вечности, мохнатый от снега Демавенд.

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ

1

Андрей Игнатьевич похоронил жену. Она оставила ему сына-подростка Сережу и дочь Людмилу, совсем еще маленькую, не понимавшую — что такое смерть? Она не верила, что мать умерла навсегда.

«Мама отдыхает, — подумала девочка, увидев ее в гробу. — Она, наверное, очень устала, а ей тоже нужно когда-нибудь отдохнуть...»

Но неподвижное спокойствие мертвой пугало ребенка, и она не могла понять, зачем нужны ей все эти праздничные цветы и праздничное платье, которое так редко надевала она живой, когда она хочет только отдохнуть?

Однако слезы отца расстраивали ребенка и, глядя на него, ей тоже хотелось плакать. Но Сережа стыдился его слез: в глазах подростка, слезы делали отца слабым, а ведь он был лучшим врачом-хирургом во всей округе, и люди доверяли ему свою жизнь; он возвращал к жизни умирающих, — ни кровь, ни их слезы, ни сама смерть не пугали его, а теперь он плачет... Это казалось непостижимым мальчику-подростку.

Со смертью жены Андрей Игнатьевич сильно сдал. Покойница часто являлась к нему живой во сне и наяву; она не оставляла его, она продолжала быть спутницей его жизни. Однако дом пришел в запустение. Приходила служанка Фрося. Она была некрасива, с широким крестьянским носом и маленькими узкими глазами, без ресниц и бровей, но очень прытка. Она разводила

для доктора кроликов на мясо, копала огород на участке, отведенном для доктора за городом, доставала пшеницу у своих односельчан, сносила ее на мельницу и пекла хлеб в печке-временке. Она все делала легко, без усилий, и везде поспевала.

Фрося была одинока; родители ее сгорели в пожаре революции, — так говорила она, — а ее оставили. Были у нее на селе дальние родственники, но все они теперь от нее попрятались, не давали о себе знать. Андрей Игнатьевич подобрал Фросю на улице, когда она умирала от сыпняка, унес к себе в больницу и вылечил. Так она и осталась там на черной работе, и была ей очень рада.

Фрося переселилась теперь к доктору, хотя к этому времени его «уплотнили», и она спала там же, где и ела, вместе с детьми. Андрей Игнатьевич передал ей всё, что имел, она вела счет его деньгам, была по-крестьянски расчетлива, скаредна и очень честна — на нее можно было положиться. Сережа подружился с ней — это была его первая подружка, и они вместе ходили с лопатами на огород. За городом, сразу, начинались поля, давно невозделанные, запущенные со времени междоусобной войны, а за ними — луга, напрасно вымиравшие без скотины; жители сельских мест отвыкли от мычания коров и ржания лошадей, а в городе дети узнавали о пастухах из рассказов родителей, как о вымышленных сказках.

Огороды были разделены глубокими грядками, похожими на канавы, поросшие лебедой. Пробегали безвредные ящерицы на коротких ногах, волоча хвост; убежали под землю полевые мыши, при виде людей, а птица, не находя семян, с криком преследовала их, куда бы они ни шли. Напивались степными цветами рабочие пчелки, а бездельник трутень кружился над маткой, выпрашивая у нее любви. Сережа всему здесь радовал-

ся, он резвился со своей подружкой, незаметно сближаясь, и были уже у них общие тайны.

А в городе люди жили без радости — они не видели ни неба, ни земли, всего боялись, от всех прятались, никому не доверяли и всё держали под замком. Не было в то время здесь твердой власти, и люди устали от безвластия, от своей незащищенной свободы; они мечтали о послушании.

Приходили и уходили вооруженные отряды, похожие на мятежников, презирающие порядок и покой. Это было странное войско, одетое в живописное тряпье, давно не стиранное, гнившее на их телах. Многие донашивали армейские рубахи и форменные штаны, но прикнувшая к ним чернь была одета во всё краденое, что только попадалось под руку; наряду с истлевшими тельниками, можно было увидеть солдат, нарядно одетых в шелковые рубахи и барские халаты. Одни выделялись хромовыми сапогами, стянутыми с чьих-то мертвых ног, а другие оставались, как были, в лаптях с солдатскими обмотками или в крагах, завезенных в наши края мадьярами. Но были и совсем босые, со ступнями, точно дублёнками, крепче кожи и грунта, по которому они ступали. Головы многих были повязаны бабьими платками.

Этот сброд, именовавший себя «авангардом революции», питал врожденную ненависть к мирным жителям городов, к удобствам их жизни, и вещи, доставлявшие людям удовольствие, раздражали их, как зуд на их грязных телах, и они всё безжалостно уничтожали; они рыскали по городу, чтобы пограбить и пустить кровь. Оставляя город, они очищали амбары и склады, взрывали мосты, перерезали коммуникации, обещая, однако, скоро вернуться снова.

Андрея Игнатьевича в эти дни редко видели дома — ночью его подымали с постели, и он, под пулями, шел к больным. Все случаи были срочные — раненых несли прямо в операционную и клали на сорванные с петель двери, на снятые с заборов ворота, на ставни окон. Они стонали, как животные, а он, преодолевая усталость, работал, как мясник, потрошил внутренности, ампутировал конечности, трепанировал черепа, заглядывая в тайны творения; вскрывая череп, он осторожно подкрадывался с ножом к каждой, казалось ему, еще трепещущей здесь мысли, к каждому чуткому ее нерву, словно где-то здесь скрывалась душа. Кровь лилась, как на бойне, его тошнило от запаха крови, а он всё резал и зашивал эти изувеченные тела, перекраивал их по своему, не по замыслу Божию. А они, эти перекоенные и заново им сшитые тела, не похожие уже на самих себя, были благодарны ему за то, что он сохранил им жизнь.

Мир больных интересовал Андрея Игнатьевича больше, чем мир здоровых. Он видел, как под влиянием болезней люди делались лучше, добрее, высокомерие оставляло их: гордые становились смиренными, завистники освобождались от дурного чувства зависти, лишавшего их прежде покоя. В промежутках между страданиями больные находили время заглянуть в свой заброшенный душевный мир и тогда каждому было от чего прийти в отчаяние! Андрей Игнатьевич шел к больным с таким приятным чувством, как будто у каждой больничной койки его ждала новая радость. Ему казалось, что больные похожи на детей, и он начинал понимать, почему сказано: «Будьте, как дети!». О, он никогда не сомневался, что перед умирающим больным раскрывается не бездна, а беспредельная высота — он возносится, а не падает!

Андрей Игнатьевич не замечал жизни своих детей — они росли без родительского присмотра, как молодые деревья при дороге. Но события жизни не позволяли им долго оставаться детьми — время было непригодное для школьного возраста. Наравне со всеми они пугались каждой перемены власти, которая меняла их жизнь, ожидая от нее библейских бедствий, подобных всемирному потопу, бубонной чуме или повальному мору; жизнь не была для них больше заманчивыми картинками из волшебного фонаря. Но Фрося все еще их баловала; она находила для них хлеб, когда его нигде не было, а сама недоедала. Она отказывала себе в лишней картошке, которую сама вырастила и накопала, только бы не отнять ее у детей, не оставить голодным доктора; она насыщалась, когда они ели, ее мучил голод, когда они были голодны.

Сережа уже не был мальчиком. Руки его лезли из рукавов гимназической куртки, разрывая проймы, а брюки доходили до колен. В его наружности появились мужские черты — он часто задумывался, в рассеянном взгляде видна была забота; темные его глаза казались теперь совсем черными, и в них горела зрелая мысль; он уже понимал, что жизнь каждого человека — это непрерывная борьба со смертью, напоминавшая ему азартную игру.

И вот, после короткого безвластия, на смену войскам «авангарда революции» в город вошли отряды добровольческой армии, чего Сережа давно желал. На улицах стало людно, появились модницы с семечками в зубах, открывались заколоченные лавки, а на прилавках появился хлеб, — земля стала снова рожать! — и ни-

где не было видно трезвых людей. Из каждого двора неслись солдатские песни.

В доме Андрея Игнатьевича поселился корнет на кривых ногах, словно никогда не слезавший с коня, словно никогда не сходявший с него на землю. Фрося уступила ему свою постель, а сама поместилась в чулане на сундуках, чтобы сделать приятное Сереже; она одна угадывала, чего он хочет. С этого времени Сережа потерял покой — ему хотелось каждой своей чертой походить на корнета, который, казалось ему, вылит из металла и несокрушим, как кремень; такому, думал он, ничего не страшно! А он, этот вылитый из металла и несокрушимый, как кремень, боевой офицер, ничему в жизни не был рад; на его скорбном лице никогда не проглядывала улыбка.

Корнет рассказывал о сражениях, о рукопашных боях, о солдатских бунтах и о том, как тяжело теперь носить на плечах офицерские погоны. У Сережи захватывало дыхание — как это хорошо! Он рвался на линию огня, он хотел усмирять бунтовщиков, принимать участие в рукопашных боях; он хотел быть там, где он нужен, а не здесь, где он не нужен...

— Не предавайся напрасным мечтаниям, мой мальчик! — разочаровывал его корнет. — Ты не знаешь, какое безобразное, какое гадкое чувство вызывает междоусобная война! Для такой войны не нужна ни храбрость, ни смелость, ни отвага, а нужно только очень сильно ненавидеть людей...

— Разве?

С этим не хотел он примириться.

И опять в городе всё пришло в движение, загремели по мостовой убегавшие тачанки, напуганные лошади становились на дыбы, и всадники, от нетерпения, рас-

парывали шпорами брюхо животных. Расстроенными рядами добровольцы оставляли город, застигнутые неприятелем врасплох, и Сергей был среди них; он бежал от всех, кого любил, от домашней ласки, от порядка жизни, унаследованного от предков, чтобы драться насмерть за всё, что он оставлял навсегда, не сознавая того.

— Мы вернемся! — кричал корнет, усмиряя шпорами обезумевшего под собой коня. — Война еще не кончилась, она никогда не кончится, ей нет конца!..

Андрей Игнатьевич был обманут в своем доверии к сыну; тайком от отца он бежал из родительского дома с отступающим отрядом. Горю его не было конца — оно было так сильно, что ослабляло его любовь к сыну, и он всё реже и реже вспоминал теперь о нем. Но боль навсегда осталась.

Одна лишь Фрося знала его тайну; он обещал ей вернуться и взять ее себе в законные жены. Она не верила.

— Зачем я тебе?

Слезы мешали ей говорить.

Он никогда не вернулся. Он лежал в могиле неизвестного солдата.

3

Фрося не верила, что он когда-нибудь вернется, но на протяжении всей своей жизни ждала его; при каждом скрипе двери она вздрагивала и бледнела. Она убрала в сундук свою юбку-клевш с широкими раструбами внизу, в которую наряжалась только для него, срезала красивые ее косы, которые одному ему были дороги и нужны, и повязалась навсегда черной монашеской косынкой. Она продолжала жить для него, хотя и сознавала, что его уже больше нет. Однако силы ее истоща-

лись, она стала чахнуть и увядать; так, незаметно, высыхает река, и океан превращается в пустыню. Она не могла не любить, и теперь все силы своей души она отдавала Людмиле, жила ее жизнью, болела, когда ей было больно, смеялась, когда ей было весело, плакала, когда на ее глазах видела слезы.

Девочка развивалась не по годам. У нее был живой ум, не лишенный воображения, а в пылающих волосах угадывался несдержанный темперамент капризного ребенка; Фросе нелегко было с ней.

По вечерам Фрося не отходила от нее — с напряженным вниманием слушала она всё, что читала Людмила, ожидая услышать что-то очень важное, подобно наставлениям Иоанна Златоуста на Пасхальной Заутрене, когда над нею раскрывались небеса. Но то, что читала Людмила, было далеко от ее сердца, словно всё это было написано не на родном ей языке и, ничего не понимая, она скоро засыпала.

Днем приходил к Людмиле развязный молодой человек, похожий на мастерового. Он разговаривал грубо, всех называл на «ты» и требовал, чтобы Фрося накормила его. Он ел быстро и жадно, как собака, торопясь проглотить как можно больше и как можно скорее, нарушая своим прожорством порядок и расчеты Фроси.

За обедом он вел себя вызывающе, на знаки внимания отвечал грубостью, и в душе его разгоралось возмущение даже против того, что он ел, и против тех, кто его кормил и как все ели... Он горел желанием разрушить, и как можно скорей, все это многовековое благополучие, раздражавшие его хорошие манеры и правила приличия, придуманные, как говорил он, праздными людьми. Он не вполне знал, чего он хотел — он хотел сейчас только одного, чтобы не было того, что есть. И хитро посмеиваясь, он приходил в

восторг от сознания, что очень скоро эта, хорошо налаженная, жизнь, плодам которой он теперь пользовался, будет разрушена, как гнездо, построенное легкомысленной птицей на верхушке дерева. Он торжествовал!

У него был тяжелый взгляд и выразительные брови, быстро приходившие в движение; они, вдруг, взлетали, испуганные, открывая сверкающие глаза, или хмурились, замышляя что-то недоброе, прикрывая глаза, или разбегались в стороны, чем-то встревоженные, и опять собирались вместе, подобно грозovým тучам, не предвещавшим хорошей погоды; Фрося угадывала по ним — чего можно от него ожидать.

Андрей Игнатьевич не заметил, как в его доме завелся хам, но скоро привык к нему — они были теперь везде, хамами наполнялись улицы, очереди у продовольственных магазинов, трамваи, железнодорожные поезда, даже театры, «дома культуры» и кино; хамство уже входило в повседневную жизнь, как некая черта новой цивилизации, к которой надо было приспособиться, как хромоту к своим костылям.

Хам, тем временем, расцветал в доме Андрея Игнатьевича, как дикое растение, он говорил доктору «ты», называл его «чудаком» (какой ты чудак, доктор!) или, махнув на него рукой, обзывал его *перезжитком проклятого прошлого*. Но к Фросе он прислушивался — с этой девкой было ему нелегко.

— Вы уж не прогневайтесь, — встречала его Фрося у порога мордой об стол, деликатно обращаясь к нему на «вы», — но кормить вас сегодня нечем... Всё теперь у нас по рациону, у каждого свой паек...

Всю ночь Фрося сушила сухари. Кислый их запах выходил из дома и обольщал улицу; не было такого человека, который бы не хотел украсть ржаной сухарь — на нем держался теперь мир. Хлеб стал центром всеобщего внимания, он был предметом вожделения всех без разбору — ученых и неучей, гордых и кротких, людей легкомысленных и умудренных жизненным опытом стариков; к нему тянулись дрожащими руками надменные красавицы наравне с женщинами безобразными, отвергнутыми всеми любовниками. Люди просвещенные, благонамеренные, с душой чистой, как слеза, в тоске по хлебу превращались в озлобленных, мелочных, способных на низкие поступки ради этого черного сухого куска: они стонали от желания. Воспоминания о хлебе причиняли страдания более мучительные, чем ревность — обманутому мужу. Были не редки случаи, когда любящие мужья в обмен на хлеб предлагали честь своих жен, вступали в недостойные сделки со своею совестью. Мрачные потемки желудочного мира подчиняли себе все светлые порывы души.

У Фроси ни в чем не было недостатка. Она добывала для своих даже сахар, как рудокоп добывает под землей руду. Соль у нее тоже никогда не переводилась. Она всегда копошилась в своем маленьком хозяйстве, всегда что-то стряпала, вела всему строгий счет. Как же было ей не сетовать на приблудившегося к их дому дармоеда, пожиравшего все ее запасы, тогда как сердце ее не лежало к нему; он отнимал у нее Людмилу — разве могла она это ему простить! Кто он, этот непутевый молодой человек без роду, без племени, носящий кличку вместо христианского имени, похожий на беглого каторжника?

Фрося даже и не старалась понять, почему Людмила подружилась с ним, что нашла она в нем хорошего? Не такого желала она для нее жениха; ей нужен жених достойный, благовоспитанный, во всем ей равный, с которым могла бы она прожить в любви и согласии всю жизнь. Она хотела, чтобы счастье Людмилы было безоблачным.

— Оставь меня! — говорила Людмила, раздраженная ее рабской любовью. — Разве ты не знаешь, что теперь всё переменилось, что теперь нет счастливых и никто никого не любит...

— О чем это ты? — переспросила Фрося, подумав, что ослышалась, но что-то в этих, не понятых ею, словах напугало ее. Она не знала, конечно, какие чувства владели теперь Людмилой. Она так любила этот дом, свое маленькое хозяйство, свои кастрюли, которые натирала до блеска, каждую ставню на окне, каждую половицу, скрипевшую под ее ногами, и не могла думать, что всё это, чем она дорожила, без чего она не могла жить, опротивело Людмиле, наскучило ей, и она видела вокруг себя только однообразный, безрадостный пейзаж, какое-то пустое пространство, напоминавшее голую пустыню, и в этой голой пустыне жил для нее только один человек, которому никто не был рад, — человек неучтивый, грубый, с тяжелым взглядом, но свободный от предрассудков...

Ночью Фрося не могла уснуть — девочка совсем отбилась от рук; какие страшные слова говорила она давеча! Как уберечь ее от порчи и соблазна? А Людмила всё не шла. Ночь была черная, глухая, равнодушная к ее тревоге. Фрося не отходила от окна, высматривала ее, выходила за калитку, сидела у порога и плакала; ей чудилось что-то страшное, она уже видела ее мертвой, в луже крови, на мостовой... О, почему это случилось

с Людмилой, а не с ней? Как хотела бы она умереть за нее!

Людмила вернулась домой далеко за полночь, уже под утро и, видя плачущую Фросю, накричала на неё:

— Ты опять не спишь? Почему ты не спишь? — и пригрозила ей, что больше никогда не вернется домой. Никогда!

Фрося не могла этому поверить; она не понимала — что плохого в ее любви к ней? И странное недоумение не сходило с ее лица.

На другое утро Людмила, и вправду, не вернулась домой. Она не вернулась и к вечеру, ни на другой день — никогда. Бедный старик впал в уныние. Он упрекал Фросю в том, в чем она не была виновата: это по ее вине, из-за неистовой ее любви он потерял детей. Ничего нельзя ожидать хорошего от рабской любви...

Фрося слегла в горячке. В бреду, она, крадучись, вставала с постели, заглядывала во все шкафы, лазила под кроватью, выметала кого-то из-под комода метлой, открывала на кухне все судки, подкрадывалась к темным углам — искала Сережу. Андрей Игнатьевич не отходил от ее постели, но ему было нелегко управиться с больной. Он испробовал на ней сильно действующие лекарства, привязывал больную к постели, а она ухитрялась освободиться от пут, продолжая свои безумные поиски.

— Он тут... — бредила больная. — Обязательно тут! — и, плача от радости, звала Андрея Игнатьевича.

— Я нашла его! Почему же вы не радуетесь? Ведь я нашла вам вашего сына, а теперь я найду вам и вашу дочь...

— Сережа, не притворяйся мертвым! Людмила, отзовись!..

Скоро она успокоилась, утихла — агония ос ее. Она умерла. Как все это просто и непостиж

Когда выносили из дома тело усопшей, Андрей натьевич набрасывался на сопровождавших гроб жал им кулаками, говорил, что покойница жи прецал хоронить ее.

— Кто это придумал, что есть смерть? — он на всех. — Вздор! Бессмыслица! Е-рун-да-а! может умереть любовь, которою она любила? J никогда не умирает!

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие А. Макриди

От автора

Персидские новеллы:

I. Черные и белые денежки

II. Люди и нравы здешних мест

III. Праведники и грешники

IV. Жизнь продолжается и в тюрьме

V. Нет больше доброго Аурамазды

VI. Нашествие иноплеменных войск

Рассказы:

Современная история

Голодная смерть